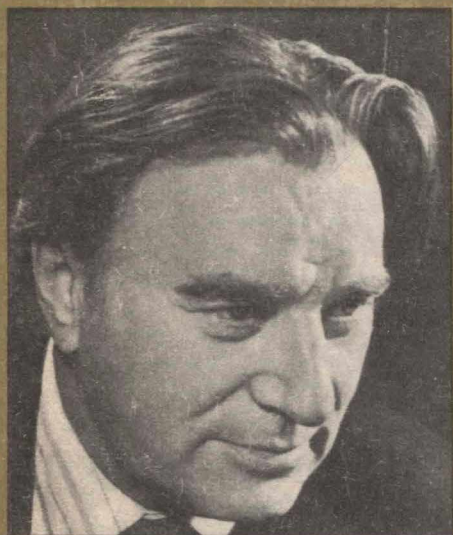


№18(856) · 1978

РОМАН- ГАЗЕТА

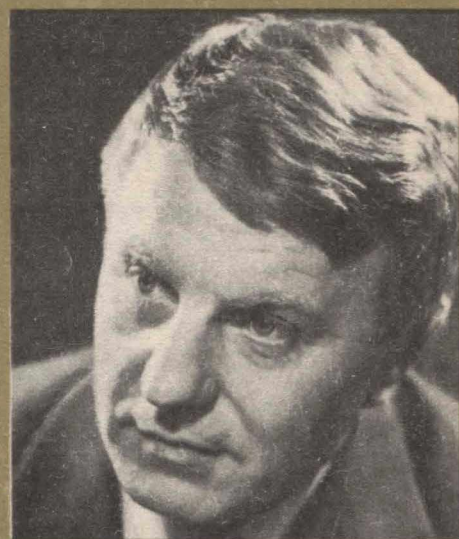


ЕГОР ИСАЕВ

ДАЛЬ ПАМЯТИ. СУД ПАМЯТИ

ЮСТИНАС
МАРЦИНКЯВИЧЮС

ПОЭМА ПРОМЕТЕЯ



ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ

ЖЕНИТЬБА ДОН-ЖУАНА

Нынешние взлеты в большой стихотворной форме высоко подняли авторитет поэмы, снискав ей репутацию жанра, способного в ярких художественных образах выразить смысл происходящих в нашем обществе духовных процессов, запечатлеть черты характера нашего современника — человека героического деяния и нравственного поведения.

Но жанр поэмы труден, требует для овладения им большой духовной, гражданской зрелости, значительного таланта. И тем не менее есть основания утверждать, что сейчас поэма вступает в новую полосу своего развития, что в ней происходят серьезные и плодотворные изменения. Они выражаются в возросшей масштабности осмысления жизни, в особо обостренной прозорливости, позволяющей сводить разрозненные факты бытия в стройную картину мироздания.

Литовский советский писатель Юстинас Марцинкявичюс известен своими поэтическими и прозаическими произведениями: повестью «Сосна, которая смеялась», поэмами «Кровь и пепел», «Донелайтис», «Стена», «Миндаугас», «Собор» и, наконец, «Поэма Прометея».

Новой своей поэмой Ю. Марцинкявичюс включает в давно ведущийся и становящийся все более актуальным спор о человеке, его природе, назначении на земле. Чрезвычайно знаменательно, что для решения глубоко современных вопросов поэт обращается к наследию древнегреческой культуры. В истории европейских цивилизаций мы не раз сталкиваемся с резким обострением интереса к Элладе, где зарождались представления о гармоничной человеческой личности. Высокий смысл поведения главного героя «Поэмы Прометея» возникает из унаследованных нашим временем гуманистических традиций прошлого, созвучия нашего сегодняшнего времени «детству человечества». Для Прометея овладеть огнем значит сделать еще один шаг к постижению взаимосвязи и взаимообусловленности всего, что окружает человека, к совлечению покровов с чудес, превращению их в общее достояние.

Антиподом Прометею выступает в поэме Зевс. Он не лишен своеобразного чувства сострадания к людям, но сама мысль о том, что люди могут быть отмечены печатью божественного огня, кажется ему кощунственным святотатством.

В поэме столкнулись два взгляда на человека, две непримиримые философии. И автор всем ходом развития действия и событий не оставляет сомнения в торжестве демократических, гуманистических идей.

Настоящее искусство сильно изображением правды жизни. Она, эта правда, и есть самая высокая и истинная поэзия. Надо только, чтобы сердце художника было с этой правдой заодно. Доверием к жизни, признанием высокого одухотворенного смысла даже будничных ее проявлений дышат строки поэмы Василия Федорова «Женитьба Дон-Жуана».

Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького поэт В. Федоров завоевал широкое признание читателей сборниками стихов и поэм: «Лирика», «Книга любви», «Второй огонь», «Третьи петухи», «Седьмое небо» и другими. Его перу принадлежат замечательные поэмы «Белая роща», «Золотая жила», «Проданная Венера», «Седьмое небо». Теперь этот ряд пополнится новым значительным произведением.

Остро актуальная, прямо-таки практическая потребность в гармоническом совершенствовании человека определяет жгучий интерес современной поэмы к тем сторонам жизни личности, которые еще не так давно объявлялись традиционно заповедной областью «интимной лирики». В. Федоров — один из немногих поэтов, который и в большой стихотворной форме нередко нарушал эту традицию, ставя в центр своих поэм морально-этические проблемы.

Могучим побудительным стимулом творчества В. Федорова служит стремление к революционному преобразованию быта, и в этом он идет вслед за В. Маяковским, все и вся поверявшим нравственными требованиями Великой Революции. Однако же быт не представляется В. Федорову только лишь косной силой. Он импонирует ему теми своими основами, на которых зиждутся гармонические человеческие отношения. Поэт любовно и охотно живописует картины нравов и быта. Ясно, что они не самоценны, а включены в систему более широких и глубоких художественных размышлений. Отсюда особое качество поэзии В. Федорова, ориентирующееся скорее на обогащенную временем пушкинскую традицию. «Он любил по-земному, слова его были земными, а все-таки в них было много от извечного стремления человека к высоте», — писал В. Федоров в статье со знаменательным названием «Наш Пушкин».

Поэт поставил перед собой дерзкую задачу прочитать до конца затянувшуюся в веках историю Дон-Жуана, решился «закрыть» вечную тему, не без основания полагая, что в нашей действительности осуществляются мечты людей о подлинной свободе человеческого духа, о чести и достоинстве личности.

Автор дает широкую панораму современной жизни, показывая своего Жуана в самых разных ситуациях и состояниях: в труде на уральском заводе, в любви с муками ревности и совести, в подвиге, совершенном во имя спасения от огня таежного сибирского леса, в размышлениях о проблемах быта и бытия. И мы проникаемся авторским отношением к герою, сочувствуем его злоключениям, переживаем за него и к финалу поэмы с радостью видим, как из духовно инертного, отягощенного предрассудками человека, вырастает постепенно социально и нравственно активная личность, достойный гражданин нашего общества.

РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№18(856)
1978



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

ЕГОР ИСАЕВ

ДАЛЬ ПАМЯТИ

Поэма

ДОМОЙ, ДОМОЙ...

1

Ко мне приходит облако.
С рожденья
Оно мое,
Оно идет с полей
Не по теченью ветра — по веленью
Души моей и памяти моей.
Пока я жив —
Его не сбить с маршрута,
Пока я жив —
Оно всегда со мной, —
В нем дали все, как стропы парашюта,
Связуются
С единственно одной —
Той, изначальной далью,
Той, печальной
И радостной, как бубенец в груди.

Та даль была и лентой повивальной,
И первой стезжкой под ноги:
Иди.

Иди, малыш.
И я, как по неверной
Волне, шагнул
И удержался — сам! —
И горизонт мой первый,
Самый первый,
Как синим полотенцем, по глазам —
И мир открылся!
Мир!

И поземельный,
И надземельный
С множеством чудес —
С лохматым псом,
С бадейкой журавельной
И журавлиной музыкой с небес.

Подробный мир.
Чтоб взять и наглядеться,
Чтоб взять и вызнать,
Не хватало дня.
Огромный мир —
На маленькое сердце —
Он с головой окатывал меня
И относил
Все дальше от порога,
От материнской ласковой руки,
Грозил грозой над взвихренной дорогой
И окрылял:
А ты за ветерки
Держись, малыш,
Греби к себе, как волны,
И отгребай —
Отталкивай с боков,
А упадешь —
Такой уж я неровный, —
Не огорчайся.
Испокоен веков
Так было с каждым. Да.
И будет с каждым
Во все мои дальнейшие века.
Я сложный твой,
Я трудный...
А пока что
Ты вон, смотри, не прогляди жука
И ту букашку-буковку
И эту

© Издательство «Современник», 1977 г.

Из моего живого букваря.
Не прогляди.

И по его совету
Я погружался в травы, как в моря.

2

А травы те тогда густыми были
И рослыми не по моим летам,—
Они, как ливни, под рубаху были,
Зеленые,
И сверху,
Где-то там,
Над головой,
Под самым синим небом
Цветки свои качали, не дыша...

Но небо небом. Пусть себе!
А мне бы
Не пропустить глазами мураша,
Сорвать листок,
Потрогать землю пальцем
И на зуб взять:
Мол, как она, земля?
И уж конечно, высмотреть жужжальце,
То самое, что где-то у шмеля:
«Вез-з-зу!.. Вез-з-зу!..»—
Жужжало пустотело,
Остерегая: сторонись, лечу!

На что уж солнце!
И оно глядело
На землю,
Раздавая по лучу
Росинке каждой, чтоб она сверкала,
Соринке каждой, чтоб взялась травой,
И той норе, откуда вытекала
Чешуйчатая лента
С головой,
Как пуговица, сплюснутой...
По звуку —
Ознобная,
Как рашпиль под ножом...

И я замерз!

Была ль змея гадюкой,
Бедой моей?
Была ль змея ужом? —
Спросите степь.
По рытвинам,

по козьям
Змея стекла,
Как тихий
жуткий
гром...

3

Я случай тот по памяти не помню,
По молоточку помню под ребром.
Он больно так во все мои границы
Ударил вдруг:
В ружье!
В ружье!
В ружье!..
И дал понять:
Горит в моем горнильце
Запаушное солнышко мое.
Чуть что — я тут! — напомнит под рукою,
Не вечно,
Но вечному сродни;

2

Они вдвоем в заздравном непокое
На вырост мой раскатывали дни.
Они вдвоем —
Зови не дозовешься —
Несли меня, ликуя на бегу,
В огромный мир,
В подсолнечные рощи —
В степную, лопухую тайгу.

Там хорошо!
Там солнечные брызги
Не быют в лицо, а льются, не слепя,
Идешь по ним,—
И голос материнский
Как будто не касается тебя:

— Пора домо-о-ой!.. —

А ты: — Да ну, да ладно! —
Идешь себе.
Какое там «пора»,
Когда курган подступит «агромальный»...
А чем он, сизоверхий, не гора,
Чем не Казбек?
И ты
На четвереньках
Возьмешь его, как вынырнешь:
Ух ты-ы-ы!
Внизу она, степная деревенька,
Внизу они, огнистые цветы
Твоих лесов!
И голос за лесами:
— Домо-о-ой!.. Домо-о-ой!.. —
Родимая зовет.

Но что поделать с этими глазами
Высокими,
Когда они вот-вот
Слетят с лица, как ласточки,
И разом,
Над окоемной покружив каймой,
Возьмут всю степь
И на зеленый разум
Положат всю.
Какое там «домой».

И лишь потом
В дремотных, сизых сенцах
Ожжет тебя ременная гроза
От всей души,
От любящего сердца.
И будет ночь, как шапка,— на глаза.
И будет солнце
Медленно и ало
Вставать

и плыть
и длиться над тобой,

Меня дни,
Меня покрывала:
Зеленое, с опушкой голубой,
На рыжее,
А рыжее, с багрянцем,
На белый плат холодных пустырей...

И ты однажды
Бравым новобранцем
Войдешь в ряды бывалых косарей.

ПОСВЯЩЕНИЕ В МУЖИКИ

1

И грянет праздник!
Радостную душу
Ты не жалея, а телом пропостей!

Их было — помнишь? — тридцать девять
Дюжих,
В рубахах белых, ладных лебедей.
Зарю на грудь!
И — звончато и нежно —
Ходи,
Ходи,
Оглаженная сталь!

Не жаль косы,
Росы не жаль, конечно,
Да только вот цветов немного жаль.
Жаль красоты!
Эх, кабы не сугробы,
Эх, кабы там не чичер ледяной,
Эх, кабы кнут пастушеский,
Да чтобы
На все двенадцать месяцев длиной!
Эх, кабы так.
А то ведь как озлится
Сама зима,
Уж чем не улещай,
Возьмет свое —
Оставит, что побриться.
А потому-поэтому:
Прощ-щай!
Прощ-щай, цветы,
Прощ-щай, густые травы,
Лож-жись

под ливень
с правого плеча!

2

Всех впереди Степан Рудяк —
По праву
Известного в округе силача.

Просторно шел.
Нисколько не стесняя
Широких плеч,
Под корень брал,
Под пуль, —
Откинешь чуб и ахнешь:
Мать честная,
Прошел прокос, как ворот распахнул!

За ним Шабров.
Ну, дьявол, да и только!
Вострил не зря и наводил не зря.
И вот они пошли,
Как под метелку,
Под синий звон зеленые моря!
Пошли,
Пошли...
От выдоха до вдоха —
Волна к волне.
Душа не дорога.

Вершись, стога!

А разве это плохо,
Когда сеница подвесилит снега?
А разве плохо:
Санная дорога
И воротник — в пырейном зеленце?

Заходишь в избу —
Ну, жених, ей-богу! —
Севинки на обветренном лице
Сияешь весь!
Как будто из метели
К жене — к законной —
Свагаться пришел;

Мол, вот он я.
А раз такое дело,
Жена, глядишь, и чарочку на стол,
И сверх того —
Чтоб радость, так уж радость —
Весь огород соленый
На столе.

А разве плохо-опрокинуть градус
Во славу лета в лютом феврале?
Повременить,
Погреться постепенно
И уж совсем не худо повторить.

Шабров, он был по этой части сена
Великий спец!
Да что там говорить:
Вихор со лба
И — ш-ша! — под самый корень.
Как не косой, казалось, — рукавом —
Косил, как пел!

3

А третьим шел Угорин,
Ну тот Угорин, дочка у кого
Красивая.
Пройдет, как усмехнется,
Как настоит на чем-то на своем, —
И колокольчик вдруг да оборвется
На том

старинном
тракте
почтовом
И долго будет,
жалуясь,
катиться

Из вьюжного
Былого далека
К тебе,
К тебе,
Пока не растворится
В крови твоей,
Не выльется пока
В трехструнный звон с кленовыми колками,
По всем ладам звенящий под рукой
Всей той,
Ямской,
Поверстанной с веками,
И всей твоей неопытной тоской.
Тоской полей,
Тоской ночных проселков,
Что развели кого-то, не свели...

А там еще во поле — перепелки,
А там еще в лугах — коростели,
Да соловьи в яружке тальниковой,
Да кочета —
В три боя,
В три волны...

Вот от всего от этого-такого
И — бог ты мой! —
Конечно ж, от луны,
От ясных звезд,
От яркой той, Полярной,
Что кажет путь блуждающей душе,
Ты застрадал, выстрадаваясь в парня,
На том,
На переломном рубеже
Судьбы своей.

Уж так страдал,
Уж вот как

Выстрадывал во бархагах ночей,
Что просыпались за полночь молодки
И к муженькам теснились горячей.
Страдал навзрыд
От нежности великой:
Авось услышит,
Сжалится авось.

Уж не с того ль в обнимку с повилкой
На горизонте вздрагивал овес?
Уж не с того ли ягодкой багровой
Неслась к тебе поклонная звезда?

Но чтоб она?.. Чтоб краля та?
Да что вы!
Такого не бывало никогда.

Ты перед ней, как зверь какой,
В присядке
Подметки рвал с последнего гвоздя,—
Она ж все по касательной,
Касагга,
Как за дождем,
Плечами поводя,
По кругу все,
По той,
По непоклонной,
По голосистой линии своей:
Мол, ты еще зеленый-презеленый,
Всех зеленей озимых зеленей.
И на смех!
На смех!
При своих товарках.
А те: да что?
Да как?
Да почему?..

Ну, значит, все:
Сворачивай сигарку
И топай, друг, в махорочном дыму
В поля,
В луга...
И там — в ночной прохладе —
Хоть расплеснишь-разлейся
Под луной.

Эх, Тонька, Тонька...
Ладом не подладить
И никакой не приструнить струной.

Да пропади все пропадом!
Застонешь
И свесишь чуб — нечесанный ковыль...

Что ж! Значит, был не лебедь —
Лебеденыш.
Знать, потому и шел сороковым.

4

Весь напоказ.
Как только что с порога
И — под уклон,
Не ведая о том,
Что степь, она прикинулась пологой
Лишь до поры,
А вот потом,
Потом...

Потом держись!
На тайном перевале
Она схлестнется, знойная, с тобой.
И кто кого:
Трава тебя повалит
Иль ты траву.

4

И будет день
Как бой!
И будет боль
В руках и пояснице,
И будут ноги тяжелой свинца,
И солнце

будет

огненной лисицей,
Дыша пожаром, прыгать у лица
Туда-сюда
По голубым стропилам
Дыханью в такт
И развороту в такт.
И — кровь в виски!
А так оно и было.
И — пот, как в бане.
Было,
Было так!

Казалось — все:
Ни шага, ни полшага,—
Ложись, милко,
И закрывай глаза.

И было б так,
И было б так,
Да, благо,
Была коса...
Огонь была коса.
Сама и жгла,
Сама и подбивала,
Сама вела тяжелое плечо.
Видать, не зря — стальная —
Побывала
В руках отца до петухов еще.
Видать, не зря он вынес из сарая
Твою сначала,
А потом свою,
И — ох! — как бил, голубушку,
По краю,
Покосный вкус

внушая

острию.

И — под брусок.

Он знал, отец,
Коль скоро
Ты чуб наводишь, кудри теребя,—
Пришла пора:
Кормилица,
Опора,
Земля твоя наляжет на тебя:
А ну-ка, мол, охочий,
Поворочай
И подержи, как я тебя держу...

Отец, он был философ, между прочим,
А что косарь...
Так я тебе скажу,
Какой косарь!
Умел и пулеметом,
И сабелькой на полном на скаку.
Умел мужик!
И все с таким расчетом,
Чтоб ни ку-ку,
Ни вздоха Колчаку!

Чтоб снег потом — навалом до повети,
Чтоб дождик — в срок,
Чтоб вовремя — роса,
Чтоб ты однажды
Вышел на рассвете,
Она —

как вся на выданье! —

коса,

Ждала тебя,

Посверкивая жалом,
Пресветлая и легкая с руки...

Не будь ее, косы такой,
Пожалуй,
Ты б не прошел тем летом в мужики.

ДАЕШЬ ПРОСТОР!..

1

А ты прошел. Да как еще —
Осылил!
И сразу — помнишь? — тридцать девять,
Все:

— Муж-ж-жик!
— Муж-ж-жик!.. —
Раздольно возгласили
Хвалу тебе и звончатой косе.
— Муж-ж-жик!
— Муж-ж-жик!
— Ещ-ще один! — как спелись. —
Ещ-ще!
Ещ-ще!
Ещ-ще один муж-ж-жик!.. —
И ячмени,
в свою
вступаая
спелость,

На ус мотали понизовый зык:

— Муж-ж-жик!
— Муж-ж-жик!.. —
Все явственней,
Все шире,—
С усов ячменных
До усов ржавых...

Дошло до баб, что сено ворошили,
А те перешушукали:
— Жених! —

Жених — и все тут.
Толки-перетолки:
Уста что мед,
Слова что соловьи,
Из уст — в уста,
Из уст — в уста
Да... к Тоньке.
И та смягчила синие свои:

— А что? Жених!

И надо б в перерыве
К ней подойти:
Мол, как они, дела,
А ты — герой! — буланого за гриву
И на себя стальные удила
Рванул, смеясь!

А как еще герою?
А как еще такому молодцу?

Присел курган,
Что в детстве был горою,
И
Промелькнул,
Как холмик на плацу.
Даешь простор!
И
Через рожь
И
Через
Подсолнухи — сезонные леса...

Тебе такое выказать хотелось,
Такие расчудесить чудеса,

Чтоб ахнули
Овсы и чечевицы,
Чтоб охнули
Сурепка и осот.
Эх, как бы так
Скакнуть
Да изловчиться
Достать

копытом

беглый горизонт,

Схватить его за прошлогодним стогом
И раскрутить,
Как обруч голубой,
Чтоб мужики, шалея от восторга,
Здрав штаны, бежали за тобой.
— Гляди! Гляди!.. — кричали. —
Ай да парень! —
Усы взлетят,
Улыбки — до ушей.

2

Ах, юность, юность, — дрожжи для опары.
Ну что за хлеб, когда он без дрожжей.
Ну что за парень, если не рубаха
И гот, который — оторви да брось?
Не зря же чуб что рыжая папаха,
И нос — кто я? —
Хотя и не курнос.
Не зря же конь что облако, —
Под ребра
И в пах его:
Стелись и возноси!

На что Рудяк — мужик добрей чем добрый,
И тот, как идол до святой Руси,
Окаменел.

Пока ты окрылялся,
Пока ты там носился, удалец,
Он ждал тебя
И наконец дождался
И — каменный — взорвался наконец:

— Резвисся, значит?
А на ком резвисси?!
Поизмывался, значит, над конем! —
И что ни слово — кнут без кнутовища
Да сыромятным

по глазам

огнем!

Да по душе — восторженной! —
По нервам,
По всей твоей влюбленности, жених,
За удаль конокрадскую,
Во-первых,
За гонор — безоглядный —
Во-вторых.

Ох, ну и жег!

Да ладно б там, в сторонке,
Да ладно б тут, при всех,
Но не при ней, —
При ней,
При Тоньке,
При такой девчонке,
Как будто ты — не парень из парней,
А так себе.

А тут еще Угорин
Из-под усов, оципаных женой:
— Кураж!.. Кураж... —
Подкаркивал, как ворон.

Отец родной
И тот, как не родной,
Спиной к тебе.

А что? И так бывает.
А что? И так случается порой.

И показалось: солнце убывает,
И ты, герой,—
Какое там герой! —
Один в степи
Стоишь, как сиротина,
Кругом забытый
И кругом ничей

И только Тонька — надо ж! —
Антонина
Семеновна,
Звезда твоих ночей,
Восстала вдруг!
Да так тряхнула челкой,
Да так пошла в туманах-облаках,
Что просияли бабы, как девочки,
И парни

колыхнулись
в мужиках.

И вся — к тебе!
К тебе,
Как по мосточку,
К тебе,
К тебе —
По краешку волны...

Глядел папаша на родную дочку,
Как на себя с обратной стороны.
Царица шла!
Попробуй усомниться
И не признать — свои же как-никак,
Чуть что не так —
Прошу посторониться!

Рудяк?
А кто он?
Что он ей, Рудяк?

Подумаешь! —
И не таких видали.
Подумаешь! —
Встречали не таких.
И от своих
От стоптаных сандалий
И до бровей нещипаных своих —
Вся за тебя!
За все твои шестнадцать
Цветущих лет!
А что?
А ничего.

Да за такое, братцы-новобранцы,
Подай коня,
По всей по ЦЧО
Ты б дал огня — герой сорви подковы —
Сам вихрь,
Сам град,
Сам гром тебе родня!
Да только жаль, что не было другого
На случай тот
Свободного коня.

3

И ты стоял.
Стоял, слегка смущенный,
И все ж таки казак из казаков,—

Ну то есть так,
Как будто сам Буденный
Перед лицом развернутых полков
Обнял тебя, как самого такого
Заметного,
А Стенку Рудяка
Послал на выгон —
Собирать подковы,
Чтоб не срамил резервы РККА,
Чтоб знал своих,
Чтоб очень уж не очень
Шпынял тебя на празднике твоём.

А между прочим,
Конь-то был рабочим,
Не скаковым, а тягловым конем.

ПРО ТЯГЛОВУЮ РЕКУ.

1

Он был давно поставлен на подковы,
За год, кажись, а может, и за два
До рождества —
Понятно, не Христова,
До твоего, понятно, рождества,—
Поставлен был.
И при любой погоде
Хомут, понятно,
И, понятно, кнут...

Вот с той поры в крестьянском обиходе
Его набольше лошадью зовут.
Чуть свет:
— Ходи! —
И тут уж будь покойный,
Пойдет,
Потянет,
Благо не впервой.
И по прямой пойдет
И по окольной,
Лишь был бы тот, кто правит.
С головой.

И ничего, что где-то чуть споткнется
И малость сдаст.
Бывает.
Ничего.
И все равно
Красавцы иноходцы
Не перепляшут иноходь его.

Постройки рвут,
А тяги, тяги нету.
Копытом бьют,
Да где уж, где уж им!
За ними что? — пустые километры
И степь враспяжку...

А за ним,
За ним,
За тягловым,
Не просто так, враспяжку,—
Навалом степь, не сгорбится пока,
В снопах,
В мешках,
А сверх того — фуражка,
А под фуражкой — думы мужика.
За ним — возы.
За ним — крутые дали.
Возы,
Возы...
Не счесть его возов.

6

И никаких — представь себе —
Медалей,
И никаких — представь себе —
Призов.

Возы,
Возы,
Как избы на телегах.
Возы до слез,
До жалобы в осях.

А все, что не доверстывал до снега,
Наверстывал по снегу,
На саниях.

Возы,
Возы...
Вези, уж коль ты лошадь,
Всю жизнь — вези!
А жизнь, она — гора.
Когда там все фундаменты заложат!
Когда там заведутся трактора,—
Возы,
Возы...
Со стоном подполозным,
Возы в жару
И в слякоть-непролазь...

Оно, конечно, слава паровозам,
Но разве с них дорога началась?

У них, железных, сила заводская
И ход — куда там! —
Оторопь берет.
Но говорят, что книга есть такая,
Неписаная книга есть.
Так вот
В ней сказано —
Быть может, что и спорно,
Но сказано —
В допрежние века:
Земля — от неба,
Дерево — от корня.
И далее:
Река — от родника.
И далее:
Дорога — от копыта,
От полоза,
А полоз — то да сё —
Извелся весь
От страшной волокиты
И взял да закрутился в колесо.

И тут пошло!
Пошло на том же вздохе,
На той же тяге, втянутой в хомут.

Когда там развиднеются эпохи
И книгу ту до атома прочтут!

2

И что ж — прочли:
Дознались,
Домечтали,
Свели с огнем железную руду...
И вот она грохочет —
Сталь по стали —
Индустрия на собственном ходу.
Иду-у!.. Иду-у!..
Раскатисто и ходко
По магистральным
шпарит
колеям!..

Эх, кабы вся Россия посередке,
А то ведь вон какая по краям!

Она и там, у моря-океана,
Она и тут,
Где пашут,
Секют,
Жнут,
Где гнезд пока не вьют
Аэропланы
И корабли к плетням не пристают.

А жизнь идет!
Не так чтоб пибко очень,—
Пешком набольше,
Редко, чтоб в седле.
Здесь хлеб растят
И знают, между прочим,
Не вся земля — что сверху, на земле,
А под землей —
Под этой вот, равнинной,
И под нагорной той,
Под верховой...

Рабочий класс — он ствольный класс,
Вершинный,
А раз вершинный — значит, корневой,
Глубинный класс!

А корень где?
Откуда
Его могучесть, кряжистость его?
А все оттуда, друг мой,
Все оттуда,
Все от Микуды — пахаря того.
Все от него, земного,
Не от бога:
Сгибайся в три погибели —
Паши!
Костями ложись,
А звонкую дорогу
Достань из-под земли
И —
Положи,
Раскинь ее, по звеньишку стыкая,
Поверх могил рабочих мужиков
На тыщи верст...

Так вот она какая,
Та борозда,
Что испокон веков
Шла по земле за пахарем-кормильцем
И за рудничным пахарем
Туда,
Где глубоко-глубоко
Коренится
Под родниковым холодом
Руда.
Туда,
Туда...
По ствольному отвесу —
Сырой земле
И камню вперерез...

А кто сказал, что здесь у нас
К железу,
По деревьям, сторонний интерес?

Уж это зря.
Тут с лаской да с поклоном
Топор берут: востер ли он, топор?
А кузня, кузня —
Звоны-перезвоны —
Не просто кузня, а монетный двор.
Как без нее?

Тут в каждой деревеньке,
Соломой крытой —
Крыши подождут,—
Любой железке счет ведут,
Как деньгам,
И чуть ли не по батюшке зовут
Любой гвоздок.
Да будь он трижды гнутый,—
Не бросят,
нет:
Сгодится и такой!
Спрямят его
И в должную минуту,
Как новенький, нацелят под рукой...
Да так вобьют,
Чтоб намертво сидел он
И связь держал в соломенном краю.

А трактор взять?
По тягловому делу
Он все равно что сродственник коню.

Идет,
Гудет —
Обходит всю сторонку —
Без хомута, а держится возлѣ.
Весь городской,
Железный весь,
А вон как
По-деревенски ладится к земле,
Берет ее
В пятнадцать лошадиных
Железных сил — напористо берет:
Просги-прощай, разлад подесятинный,
Да будет погектарный разворот!
Да будет впредь
Земля с землей родниться,
Да будет серп и молот на века,
Как верный знак того.
Что будет литься
От сердца к сердцу
Главная река —
Река труда!

Всему, что есть на свете,
Она и ход, и взлет она дает —
Расгит хлеба,
Раскидывает сети
И руды из-под спуда достает,
Идет-гудет
Над радугой-рекою
Поверх морей,
Дождей поверх
И гроз...

А будет,
Будет,
Будет и такое,
Она — поверь! —
Без крыльев,
Без колес,
Ударит оземь тягловым пожаром
И на такие вымахнет верхи,
Каких сам бог не видывал, пожалуй,
И дьявол сам посредством кочерги
Не ворошил!

Но там,
Но там...
Чуть сбоку
Звезды полей,
У звездного ковша,
Она земле помолится — не богу,
Земная вознесенная душа!
Да, да, земле!
Той самой, с облаками.

Родимой той
И незабвенной той,
Где родники роднятся с рудниками,
А кровь-руда — с рудничною рудой.

Ей — только ей! —
Воздастся полной мерой
В пределе том,
Неведомо каком,
За хлеб,
За соль,
За первый шаг,
За первый
Невнятный слог,
За слово с корешком,
За свет,
За мысль,
За тяжкий дар познания,
Так высоко отшторивший зенит,
За вечный зов,
За берег ожидания,—
За весь ее нетягостный магнит
Воздастся ей.

Вот это будет чудо,
Невиданное чудо из чудес!

Но а покуда, друг мой,
А покуда
Он здесь растет, высокий интерес.
Здесь,
На земле,—
На этой вот и дальней
Той, заводской, где разливают сталь,
Где, не минуя дали магистральной,
Везет свое проселочная даль.

КРЕМЬЕНЬ-СЛЕЗА

1

Возы...
Возы...
Не под гору, так в гору —
По гужево́й, извозно-полевой
До самой той, железной,
До которой
Верст сорок, чай,
И то не по прямой,
А по кривой.
И то,
Смотря какая
Погода обрисуеться в пути.

Добро, когда в загылок припекает.
Сиди себе покрикивай:
Ходи.
Ходи, ходи!
Поплескивай нестрога
Витой вожжой,
Красуйся на возу.

А что еще?
Дорога как дорога,
Упор дает коню и колесу,
Пылит себе, копытам потакая,
Стремит себя, впадая в горизонт,
И никого —
Характером такая —
Проселочной верстой не обнесет.
Хоть не с руки,
А все ж таки уважит,
Хоть сбоку чуть,
А все ж таки пройдет
И все, что есть окольного,

Увяжет,
А не увяжет — ветку отведет,
Подаст ее
То вороху, то стого
И все дочиста вывезет с полей.

По ней, как встарь,
Запряг коня, так трогай,
А не запряг — пешком иди по ней.

По ней — кто с чем:
Кто с песенкой-потехой.
Кто со слезой-обидой
Кто с бедой —
Своей ли, чьей...

А за день не доехал,
Поговори с какой-нибудь звездой
И повздыхай, раз есть на то причина.
И пожалей, качая головой,
Хотя бы трактор:
Надо ж ведь — машина,
А вот поди ж ты,
Вроде как живой,
Тоскует вот, железами окован,
И просится, не хуже стригунка,
В ночной табун...

И как его, такого,
Не пожалеть,
Припомнив ямщика?

А как не взять вполголоса
Того, что
Так издавека чайлось в душе
И год и два?

И вот
Легко и просто
Само взялось
И вылилось уже.
И вот
Плывет,
У глаз перетекая
За край земли,
За темный оком...

А за глазами — явственность такая,
Такая даль,
Какую белым днем
Не высветить с высокого порога,
Не перелить в протяжные слова.

Бежит,
Бежит
Полночная дорога,
Как чья-то вековечная вдова.
Бежит,
Бежит
На чей-то зов далекий
В тревожной, переимчивой тиши
На самом том извечном перегоке
Земли и неба,
Мысли и души.
Бежит
От поворота к повороту —
В чужую ли, в родную сторону.
Поди узнай:
С войны ли ждет кого-то,
Кого-то провожает на войну?
Не на войну,
Так, стало быть, в остроги
Сибирские,
В рудничную грозу...

Уж не на той ли на крутой дороге
Нашли окаменевшую слезу?

2

Нашли.
И понахлынуло народу
Немодно сколько. Описать нельзя.
— А ведь и правда — каменная вроде.
— А ведь и верно — горькая слеза.
— Слеза, ну точно!
В натуральном виде,
Как то ядро старинного литья.
— Но это так, на глаз,
А по наитью
Со всех сторон великая...

А чья?
С какой щеки,
С какой такой печали
Скатилась —
Не вмещается в слова?

Молчал народ.
Поля вокруг молчали,
Стенные омывая острова.
Молчал весь мир.

Лишь где-то на опушке
Пичужка сердобольная одна
Не утерпела —
Кинулась к кукушке:
— Слезу нашли! А чья, а чья она —
Не говорят. —
А та — лесному эху,
А эхо — ах, минута дорога —
К Магнит-горе.
А там,
А там
С разбегу
В один прыжок — оленю на рога!
И —
По тайге,
По займищам,
По скалам —
К волне морской:
— Слезу-у нашли!..

А та
Приподнялась:
— А долго ли искали? —
И, вся собой до гребня занята,
Пошла на скалы,
Скалы обтекая,
Перегибая изумрудный стан:
— Да кто ж не знает, бестолочь такая,
Их у меня вон целый океан,
Жемчужных слез!

И с камня-великана
Швырнула эху чудо-жемчуга.

А эху что?
Как звезды на кукушке,
Те жемчуга — оленю на рога
И — верть назад!..

Лишь где-то за Уралом,
А может, где у волжских берегов
Хватилось вдруг, — а их как не бывало,
Хваленых тех,
Дареных жемчугов.
И тише,
Тише...
Мимо той кукушки,
В кукушкин лен,
В пчелиный перегуд.
И ни гугу.
Лишь ушки на макушке —

Что у того коня,
Погонная на все четыре дали
И крепкая до гробовой доски,—
Она во рту
 крошилась
 при ударе
И редко чтоб катилась со щеки,
А все нутром,
Все горлом шла,
А то и,
Коль поглядеть с острожной стороны,
Она, бывало, ключьями
Вдоль строя
Под палками
 сползала
 со спины

И стоном шла
Над матушкой-рекою,
И звоном шла
Под пашкой верховой
Туда — в Сибирь!

А было и такое:
Как с гор высоких,
Вместе с головой
Шаром катилась, обжигая веко,
Не к богу в рай, так под ноги царю,
Аж дó крови огненная от веку!

Эй, мужики,
Не так ли говорю?!

— Так, так, отец!
— А как еще иначе?
Такой уж мы напористый народ!..

6

А был там парень...
Вот уж кто горячий!
Так и гарцует — просится вперед.
Такой он был.
Как только что с напеста
И — здрасте вам! — фуражку на глаза:

— А я-то думал, выберу невесту,
А вы тут все заладили:
Слеза.
Слеза... Слеза...

Да будет вам! —
И е ходу,
Чтоб не сочли за Яшкү-трепача,
Он перед всем отхлынувшим народом
Гармонь свою с высокого плеча
Принял на грудь
И ровень с горизонтом
Во всем своем азарте молодом
Рванул гармонь-то,
А?..
Гармонь,
Гармонь-то,
Как не гармонь, а речка подо льдом,
Молчат — и все.

Ну что ты скажешь —
Казус?
Добро бы казус, если б не конфуз.

А было, брат,
А было:
Без отказу
На весь, считай, работала Союз,

На всю страну.
А было:
Так любила
И так страдала, знатная, в тиши,—
В ней море было
Свадебного пыла
И больше моря — на душу души.
В ней был и звон,
И стон со дна покоя,
И вихрь,
И всплеск,
И выплеск в две волны...

И — на тебе. Бывает же такое!
Гореть бы парню посреди страны.
Уж это факт.
Гореть как гармонисту
И, что всего страшной, как жениху
В глазах девчат.
Гореть! Не окажись тут
Один товарищ:
— Дай-ка помогу.

7

Он подошел
И так вот, с-под ладошки:
Мол, что ж ты, а, бугай тебя бодай,
Гармонь-то рвешь?
Сперва откинь застезки,
Потом хоть всю «матаню» размотай.
— А ну-ка, дай!

И взял гармонь за плечи,
А та, как сердце чуяло,
К нему
Сама, казалось, кинулась навстречу.
И — веришь, нет —
Как брату своему,
Легла на грудь — печальная такая
И звонкая такая вперебой,
И всю-то степь
От края и до края,
Рыдая,
Переполнила собой:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

И так зашлась,
Что все, какие были
Вокруг нее, фуражки, картузы,
Как ветром, сбило
В сторону Сибири,—

И тут же,
Тут же,
У кремень-слезы,
Со дна холмов,
Как вздох,
Как стон глубокий,
Как долгий крик осенних журавлей,
Всплыла над степью,
Над степной дорогой
Дорога вечной памяти,
По ней...

По ней,
По ней,
Пока не отрыдала,
Пока не успокоилась гармонь,
Прошли такие каторжные дали,
Такой живой
 прокинулся огонь,
Что — бог ты мой!

— И мы про то гитарим!
— И мы про это ж самое...
Про жизнь!..

И тот же парень —
С венчиком попарен —
Кажись, остыл, одумался, кажись,—
Хитро повел:

— А мне-то что!
Положим,
Она и есть — да слушайте сюда —
Кремень-слеза,
Тогда с каким обозом,
Скажите мне,
И, главное, куда,
Куда, скажите,
В город ли, в село ли
Везти ее
И на какой предмет?
Командуй, дед!

А дед — озяб он, что ли? —
Не то что слово — шелковый кистет
Не развернет.

Ну что ты скажешь —
Казус?
Добро бы казус, если б не курьез.

Вопрос такой, что скоро не развяжешь,
Не перекуришь,
С корня не сорвешь,—
Такой вопрос.
Стоит себе — и все тут —
По самый крюк
В махорочном дыму.

11

И тут-то вот со стороны учета
Сам землемер — спасибочки ему:

— Да,— говорят,—
Здесь надо аккуратно
Обмер вести —
С расчетом, стало быть,—
Где вширь,
Где вдоль
Промерить поквратно,
Где с корня взять,
Где в слове объявить,
Где остолбить,
Чтоб не было урону,
Чтоб все в наличье значилось добро.

Вот взять, к примеру, камушки с короны
И все такое золото-серебро —
Откуда что?

Не бог же их насыпал
В кошель казны —
Поштучно и вразвес —
За просто так,
За наше вам спасибо.
Нет, мужики. Таких еще чудес
Никто не знал.

Ну, разве что царь-мытарь.
Ему-то что! Он барин все ж таки.

А мы-то,
Мы-то
Тем и знамениты,

Что мы — первостатейно знатоки.
Мы —
Ковали от первой наковальни,
Мы —
Плугари от первой борозды,
Уж мы-то,
Мы-то
Знаем досконально,
Во что и чьи
Заложены труды.
А что кровя! — измерь ее попробуй.
А что слезы! — сочти ее поди.

Тут, я сказал бы, Азия с Европой —
Один массив,
Хоть сверху погляди,
Хоть снизу глянь,
Хоть с горской,
Хоть с поморской,
Хоть с лицевой,
Хоть с тыльной стороны,—
Единое все!
Одни же перекрестки
Петли и шеи,
Розги и спины.
Одна ж тюрьма,
Одни ж концы-дороги
Погонные: грузи, народ, вези!..

А что в итоге? —
Ясно, что в итоге,—
Слеза не просто, а всяя Руси
Слеза-кремень!

И где тут, чья тут доля
Посолоней? — не скажешь наугад.
А веку ей!..
А веку ей —
Поболе,
Чем дней в году.
А что карат, карат?..
Карат в ней будет
Столько тут!
Годами
Не поделить.
И есть ли в том расчет
Делить ее, всеобщую,
Когда мы —
Всему,
всецело
государь-народ?

Да, да, всему!
По совести,
По корню,
По главному закону Октября,—
И тем же самым камушкам с короны,
За вычетом буржуев и царя,
И всей казне
С державным оборотом,
И всей земле
До деревца в лесу..

А посеми, как служащий учета,
Я говорю:
В казну ее, слезу!
В казну!
А что? — уж если не в огранный —
В литейный цех монетного двора,
Чтоб там она кругло и недреманно,
Намного выше злата-серебра
Светилась,
Упреждая тунеядство,
И вес особый придавала рублю.
Вот кратцах все.
А чтоб не повторяться,

На этом я, друзья, и закруглю.
Вопросы есть?

— Да что вы!
Слово к слову!
В закон кладу — зубилом пль пером —
И ставь печать!
— Берем как за основу!
— И в целом — по окружности — берем!
— Берем?
— Берем!
— В казну?
— А то куда же!
А там не примут — рядом арсенал.
— Резон?
— Резон.
— А что учитель скажет?!

12

А тот учитель — кто его не знал —
Рисковый был.
Как труженик ликбеза
Он, было время, в принципе своем
Не признавал ни дьявола с обрезом,
Ни ангела с подсобным кистенем.
И — ночь-полночь —
Рисковый,
Но толковый,
Он всю округу исходил пешком.
И всякий раз
Где словом корешковым,
А где и глубже — цифрой с корешком —
Вникал во все.
И славен был тем самым,
Причем учти, не ради куражу.
И вот вопрос —
Экзамен не экзамен,
А говори: куда ее, слезу?

И сход притих.
Притих и ждет ответа,
Достойно соблюдая тишину
По всей степи некошеного лета.

И — наконец-то:
— Можно и в казну,—
Сказал учитель. —
Честь весьма большая,
Большая, да, но... маловат обзор.
Ведь что меня особенно смущает:
Монетный двор, он — не гостинный двор.
И арсенал на общей нашей карте
Не для того, чтоб взоры привлекал...

А кстати, вот что, граждане...
А кстати,
Не из нее ли искру высекал
Великий тот?
Уж он-то знал, пожалуй,
По ходу мысли действуя своей,
Какие превеликие пожары
Больнее боли,
Соли солоней
Скипелись в ней
До крайности предельной,
До согнетенной точки центральной...

А не из той ли искры,
Столь негленной,
На красный день эпохи мировой
Зажглась она, звезда большого света,
В виду окольных и далеких стран,
Звезда добра

И мудрого совета,
Звезда родства
Рабочих и крестьян?

Вот я о чем.

И в частности,
Коль скоро
Тут речь зашла: куда ее, слезу? —
Из всех вершин духовного обзора
Я б школу выбрал.
Там, я вам скажу,
Уже теперь
С азов
По первочувствую
Иная даль вступает в свой черед.

Так пусть же,
Пусть же
От верхов до устья
Не убывает памятью народ!

Так и сказал.
И все в таком обзоре,
Как увязал суровой бечевой.

13

И вот еще:
На том большом соборе,
На сходке той огласки вечевой,
Был, говорят,
Гвардейский не гвардейский,
Но все ж таки значительный такой
Один мужик:
По складу — деревенский,
А по чутью,
По взгляду — городской.

А в общем, свой.
А в общем, натурально
Мастеровой в характере своем.

Он так сказал:
— А дайте на Урал нам,
Мы всю ее в железо перельем. —
И пояснил
Для полного ликбеза,
Для полного родства, не напоказ:
— Ведь как-никак, товарищи,
Железо —
Оно к селу и к городу как раз,—
И дояснил,
И доразвил:
— Оно — и
Разумник-гвоздь
И умница-игла.
Оно не просто рудное —
Родное
И кровное
От плуга до крыла.
Оно — и крепь,
Оно — и рельс вдоль рельса.
Оно — и связь.
Оно —
Звено в звено —
Вся наша даль.
И в наших интересах,
Чтоб не крошилось — помнило оно,
Откуда что.

А как уж там решили
Те мудрецы — работники земли,—

В казну ль ее,
В цейнгауз отгрузили
Иль прямо на Магнитку отвезли? —
Ты сам решай.
По способу ль сложенъя
Иль сомноженья всех ее карат.
Ведь — шутка ли! —
На ниве просвещенья
Ты корни извлекаешь, говорят.
Вот и давай —
Плантуй, как говорится,
Во всех чертах системы корневой!

А если уж и в корень не влезется,
В квадратный тот,
Попробуй — в кубовой.
Авось войдет.
А нет — спроси у вон той
Звезды полей
И вслушайся в простор.

14

Тут кто ни кто — костер у горизонта
На склоне дня.
А, скажем, ночь.
Костер.
А у костра, допустим, трактористы
Иль пастухи —
Втроем ли, шестером —
Сидят в ночи
И в поле во чистом
Не говорят — беседуют с костром.

О чем они?
О новом урожае?
О ходе ль заготовки фуража? —
Ты не гадай.
К костру не приглашают,
Костер, он сам — открытая душа,
Зовет — иди.

Но чур, брат,
Кроме слова,
Ты загодя на ощупь собери
Соломки ль там, навозчику сухого
И ни о чем таком не говори,
А подойди и молви:
— Добрый вечер! —
И брось в костер запасливой рукой
Все, что принес.

Костер, он сам навстречу
Поднимется: откуда, мол, такой
Догадливый?
И с красного крылечка,
Как пращур твой, шуткуя и любя,
Ожжет тебя
И лучшее местечко,
Довольный, облюбует для тебя.

И ты садись
И жди, покамест каша
Под сводом не упарится ночным.

И тут тебе такое порасскажут,
Такое нарисуют! —
Где уж им,
Тем писарям!
Расскажут про былое,
Про давнее,
Расскажут и про новь.
И про хлеба —

Ох, как бы не пожгло их —
И про любовь.
А что?
И про любовь.
И про войну гражданскую.
Про то, как
Рубились насмерть, шкуры не щадя
Того Шкуро...

А там,
А там — дорога,
До полночи вершка не доходя,
Как вспомнит что
И в образе солдатки
Иль матери — старушки вековой —
Свернет к костру, озарена догадкой —
Фонариком:
А нет ли тут кого
Из тех ушедших в залежные дали,
За ту
Бесповоротную черту,
И в ту войну, как турка воевали,
И в ту войну, японскую,
И в ту,
Германскую?..

И, темная от зова
Без отзыва,
Как под воду, уйдет
В такую даль,
Где ничего живого,
Лишь трын-трава в беспамятстве растет.
Туда,
Туда...
За темные затворы,
И выкатит —
В котором уж часу? —
На свет костра,
На берег разговора
Не то луну,
Не то кремь-слезу?..
Чего гадать!
Иди к ней и потрогай,
Уж раз ты недоверчивый такой.

А что дорога?
Ясно, что дорога.
Она — где руль, где вожжи под рукой —
Везет свое —
Навалит не навалит —
Торошит неотложную версту...

Она и ночью до свету дневалит.
У памяти великой на посту.

ТРИ ГАКА

1

По ней вся жизнь.
Дожди ли там, сугробы,
Жара ли, град, мосты ли — не мосты,
А хлеб вези!

И все бы ничего бы,
Когда б не хитрый хвостик у версты,
Когда б не гак.
Добро, когда верхковый
Добавок тот,
А что, как верстовой?

Про то дорога знает под подковой,
Да небо, что плывет над головой,
Да скрип колес.
Добро, когда опора

Надежная,
А глазу — красота.

В такую пору,
Недоступный взору,
Он где-нибудь в принорке у крота
Лежит себе
И хитро так на солнце
Как нет его,
Глядит одним глазком.

А как дожди,
Откуда что берется,—
Он шевельнется
И ползком,
ползком,
Как змей трясинный,
Набирая силы,
В присосках весь,
Вползает в колеи
Во всю длину проселочной России...

И хоть ты что:
Руби его,
Коли,
Топчи его хоть до ночи,—
Он стерпит,
Не прояснит размытые черты
И на одну учетную
Навертит
Не две, так три ухватистых версты,
Собьет с ноги,
По ступицу,
По шкворень
Всосет,
затянет —
Жми давай плечом.

Ведь надо ж так:
Царя свели под корень,
А эту контру — темную причем —
Как ни штурмуй,
Расхлябанные хляби
Не выплеснешь вожжей из-под колес...

Приди, приди на выручку,
Челябинск!
Ну, не Челябинск —каменщик-мороз,
Приди, приди.
Ударь кругло и звонко
С крутой подачи северных широт!

А то ведь вон как
Бросило трехтонку —
Не просто вкось, а задом наперед
Поставило.

Шофер, на что бедовый,
И тот в такой заносчивый момент
Никак
с верстой
не справится
кондовой,

Никак она в ученый километр
Не лезет вот, сырая-пресырая
И верткая, как лодка на волне.

Она и так-то с посохом —
Кривая,
А с гаком, брат, она вдвойне,
Втройне
Кривей себя:
Заносит, лишь бы вышло,
Куда ни шло —
Не хочет по прямой;
Железо рвет,
Выламывает дышла...

А как ты думал?
Гак — он, брат ты мой,
Не просто гак,
А даль в четыре дали
До наших дней
С допрежнего вчера.

Его, бывало, ямщики мотали
И не смотали,
Нынче шофера
Мотают вот — с поклажей, без поклажи —
На все колеса
Из конца в конец...

Его бы, черта, камушком с Кавказа
И — вдоль спины!
Да чтоб торец в торец,
Да чтоб рядком,
Да ровно чтоб,
Да чтобы
Между селом и городом как раз.

Оно бы так,
Оно бы хорошо бы:
Газуй, шофер!

Да, говорят, Кавказ
Не ближний свет.
И все, что примечталось,—
Не сразу, брат, сбывается сполна.
Она ведь нам не с полочки досталась,
Родная наша, кровная страна.
А с-под огня,
С-под шомпола,
С-под ники,
С-под страшного разора-грабежа.

Давно ль, скажи,
Тут злобствовал Деникин,
А там,
С краев,
Четырнадцать держав
Давно ль, скажи,
От маковки до корня
Палили нас
И распинали нас?

А год повальный, он, учти,— не ровня
Подъемному.
Фугас и есть фугас.
Он рвал и жег
И тут
и там —
Он втрое
Проворней был, чем труженик-топор.

И надо было
Строить,
Строить,
Строить
И курс держать на тягловый мотор.
И надо было рублик,
Что по весу
Позолотей,
И сельский трудодень
В один котел,
В Магнитку класть,
В железо,
А ту слезу, которая кремень,—
В булат,
В броню...

Взгляни по горизонту
Туда-сюда,
Не так уж он и чист.

И как бы там и сколько б ни играл,
Назар и сам подыскивал невесту,
А вместе с ней и тещу выбирал.

И выбрал все ж согласно поговорке
Со стороны
Глубокой старинны:
Куда б ни ехал — домик на пригорке,
Куда б ни правил — к теще на блины.
И заезжал
И грелся над блинами
Часок-другой —
Нельзя ж накоротке,—
И с тех блинов,
Как сказано не нами,
Был сыт и пьян
И ноздри в табаке.

Но как-то раз он ехал из райтопа,
Лпхой такой —
Без дров, без уголька,—
И клял себя за то, что —
Вот растена! —
Чуток зашнулся у того ларька,
И взял-то чуть,
И выпил-то всего-то
Каких-нибудь с полбаночки,
И — стоп.
Ну а свернул к райтоповским воротам,
Ворота — хлоп!
Закрит уже райтоп.

Порядок, брат.
«Нельзя ж ломиться с ломом,
Там сторож, чай...» — сообразил Назар
И так сказал:
— Протошимся соломой,—
И спину тем воротам показал. —
Подумаешь! —
И по боку, не глядя,
Ожег коня
касательным
огнем.

А через час —
Опять же не внакладе! —
Сидел Назар за тещиним столом
И говорил, поигрывая словом
Поверх блинов и около того,
Про то,
Про се,
А больше про солому:

— Солома что в объеме ЦЧО?
Солома — все!
Соломой что покрыться,
Что постелиться...
Всем она взяла!
Она — и кормовая единица,
Она — и шапка для всего села,
Она — и жар!
Внесешь ее с морозца,
Как в рай какой отворишь ворота,—
Она смеется,—
И жена смеется,
И сам ты весь веселый...
Красота
И лад в семье!
Откроешь все задвижки —
Она пчелой
взыграет
огневой!..

А теща заикнулась про дровишки,
Так он — куда там! — тут же с головой
Ушел в тулуп,
Как тот медведь в берлогу,
Нашарил шапку и ременный кнут:
— Дрова... Дрова...
С дровами, бабка, плохо.
Дрова у нас в районе не растут.

И вышел в ночь, где ждал его буланый,
Озябший конь
И не просил овса.

А как тем часом
В образе бурана
Уже прошел тамбовские леса,—
И грянул в степь
В метельном балахоне
Да так

тряхнул
просторные
места,

Что звезды все,
Как галки с колокольни,
Осыпались,
И санная верста
Оборвалась:
Свяжи ее попробуй
В таком аду, на градусе таком!
Сугроб в сугроб!..
Сугроб!
А над сугробом —
Еще сугроб:
Наждак под наждаком —
И ветер,
Ветер! —
Дударь он и строгаль,
И хват,
И мот,
И он же — сатана...

Была дорога — нет ее, дороги.
И где там что:
Где теща,
Где жена,
Где низ,
Где верх,
Где заяц,
Где волчица,
Где крик,
Где рык,
Где стон из-под ножа?

Рука с рукой не могут сговориться,
С какого боку путная вожжа?
Сугроб в сугроб!..
Вся степь — одно кружало
Под парусом дырявым ископон...

Вот тут-то он и дал винта Назару,
Тот самый гак.
И если бы не конь,
Какую Шабру:
Уснул бы без просыпа,
Не отогрел бы никакой райтоп.

Но друг старинный —
Вот кому спасибо! —
Товарищ конь,
Он все ж таки разгрел
Тот гроб-сугроб
И, белый весь
От выюжной
Ямской беды,

У смерти в поводу,
Не сдал тогда — усек поздрей конюшню.
Как тот помор Полярную звезду,
И вышел все ж
К завьюженным воротам,
Заржал тревожно —
Конюха позвал...

И вот,
Как видишь,
Запросто с народом
На всю ладонь ручкается Назар,
Живет себе
По совести,
По правде,
С женой живет, что тоже не секрет,
А вот с гармошкой...
Рад бы что сыграть бы,
Да в пальцах прежней перебежки нет,
Нет воздуха,
Нет стопа-перезвона,
И музыка не клеится никак.

А если взять Угорина Семена.
Так тот попал под половодный гак.

3

А было как?
А было:
Ночь сырая
Стояла в мимолетных облаках.
И наш Семен, минуты не теряя,
Как жаль свою,
Как речку, на руках
Повес жену, притихшую до срока,
На край зари с неясным бережком.
Да будет свет!

И кинулась дорога
Под розвальни,
И конь, как босиком,
Пошел,
Пошел
По роспути весенней,
Пошел,
Пошел,
Где лед еще и снег,
Как будто знал,
Что в розвальнях, на сене,
Еще один хороший человек
Не может ждать.
О том вожжа проспла,
И кнут просил
О том,
О том,
О том...

И вот он — мост!

А мост... как подкосило
Тяжелым льдом
И наскось со льдом
Снесло
гармошкой,
брошенной
с плотины,—
Играй, вода, в два берега-плеча!

И тут уж, брат,— челюскинская льдина —
Кричи грачам:
Врача!

Врача!
Врача!
Аукай, брат,—
Ни лодки у причала
И никакой посуды другой.

Ревел поток!
И женщина кричала
И шла своей положенной рекой —
Рекой любви,
Рекой людского рода,
Рекой других светящихся времен —
На край зари,
На берег небосвода,
В другую жизнь...

А что Семен?
Семен...
Понятно что:
Топтался виновато
Вокруг саней.
А что еще он мог?
Тудуп — с плеча
И руки — для подхвата:

— Сынок,— просил,—
Да что же ты, сынок.
Так мамку рвешь.
Да я ж тебя за это,
Как выйдешь вот, нашлапаю, стервец!

Зажегся флаг над крышей сельсовета,
Как добрый знак.
И — ах ты! —
Наконец
Явилось солнце повивальной бабкой
Степенно так —
Не по мосту, а вброд —
И воссияло, красное:
С прибавком
Тебя, великий океан-народ!
С волной тебя, роженица!
С рассветом
Тебя, малышка!
С доченькой, отец...
С кустом вас всех!

И — веришь, нет,—
Об этом
В момент скворчихе доложил скворец.
А та — грачу,
А тот — жарку-звоночку...

И тут уж конь не выдержал —
Заржал:
Ну что ж что дочка,
Хорошо, что дочка!

А что Семен?
Семен... не возражал.

Семен воспрял!
Семен, как та скворешня
В часы прилета, радость излучал —
Сиял мужик!

И — вот что интересно —
Он как-то так усами помягчал
К жене своей.
И все у них рядочком
Пошло с тех пор —
Про то и разговор —
За дочкой — дочка
И еще раз дочка,
Ну а потом...

Потом как на подбор
Сыны пошли —
Угоринцы,
Угоры!
Силен Семен.
И это не предел.

А тут еще по ходу разговора
И доротдел
О том же порадел —
Прокинул мост
Как раз к Восьмому марта,
Порадовал стахановским трудом.
Так что теперь — не дрейфь, мужик,
Хоть завтра,
Хоть нынче в ночь,
Пожалуйста, в роддом.

А не в роддом —
Ох, как бы не проспаться бы! —
Кому что надо и кого куда:
Кого на свадьбу,
А кого со свадьбы,
Кого —
И так бывает иногда —
Под бугорок:
Растя, живая травка,
Гори в крестах, прискорбная звезда.

Ну а кого —
Была бы только справка —
С кривой версты
И —
Свидимся ль когда? —
На тот разъезд...
С поклажей, без поклажи —
Прощай изба!
Прощай, метеный двор! —
До стрелки той...
А стрелка та покажет
С поправкой на зеленый семафор,
Где варят сталь,
Где валят лес у края,
Где дом-хором,
Где временный барак...

Ну, словом, так:
Страна-то вон какаа
Просторная!
И как ли там, не как,
А жизнь идет
И в том и в этом плане —
С ноги идет,
С копыта,
С колеса,—
И сверх того:
Ты глянь, аэропланы
Дорогу поднимают в небеса!
Крыло в крыло,
Как в песне — голос в голос —
Про степь да степь
За праздничным столом.

И то сказать:
Сам полюс,
Как под полоз,
Прошел уже под чкаловским крылом.

Вот сила, брат!
И с каждым днем все выше,
И с каждым разом дальше все,
Верней
Идет страна.

Да ты и сам, я вижу,
По всем задаткам парень из парней,
Туда ж глядишь со школьного порога,
На тот,
Индустриальный горизонт.

Ну что ж, товарищ, потерпи немного,
Он и тебя однажды отвезет,
Буланый твой —
Подкова за подковой,
За шагом шаг —
Проселком на большак...

А там — кто знает? —
Громов с Байдуковым,
Возможно, перемолвятся:
— Ну, как?
Орел?
— Орел! —
И в летную зачетку
Внесут потом полнеба на винтах...

А там,
А там —
Крылом подать! — Чукотка
И — с капитанской трубочкой во льдах —
Губа Обская,
Карские Ворота...

Ну, словом, там —
По ходу облаков —
Земля земель сомноженных народов,
Соборный свод согласных языков.

ВОТ ОНА, ГРАНИЦА...

Здесь степь да степь.
Здесь эхо, как в колодце,
Глубокое на дальние слова.
Скажи: Москва,—
И тут же отзовется
И в мыслях перемножится:
Москва...

Москва... Москва...
Растает звук,
Но губы
Все будут пить из донных родников
Заветный смысл
Возвышенного сруба
Ее восьми слагаемых веков.

— Москва... —
Вздохнет молодка у калитки,
Войдет в избу
И там — одна в избе —
Прикнет шаль московскую
К улыбке
И в зеркале понравится себе.

Москва... Москва...
Бывало, у дороги
Мальчишкой заглядишься в синеву...
И вдруг отец —
Большой такой, нестрогий —
Шепнет:
— А хочешь, покажу Москву? —
И ты: — Хочу! —
Как выдохнешь.
И словно
Глазами потеряешься в степи.
— Хочу! Хочу!

— Но, чур, сынок,
Ни слова
Про то маманьке.
А теперь терпи.
Терпи, сынок! —
И за уши тихонько,
За кончики, потянет из порток:
— Расти, сынок!
Тянись ушам вдогонку.
А если что, ты покряхти чуток.

И ты кряхтишь, согласно уговору,
Но гнешься —
Без этого нельзя —
До той слезы блескучей,
За которой
И впрямь как будто — синие леса
И птица-жар!
Все ближе,
Ближе,
Ближе...
И жарче все!

И тут уж ты, малец,
Сморгнешь слезу
И крикнешь:
— Папка, вижу!

А что видал —
Не спрашивал отец.

— Москва? А как же!
Знаем, что большая... —
Припомнит дед, ходок из ходоков,
И все края ни в чем не понижая,
Как стог поставит
Выведет с боков
И верх навьет —
Куда тебе скворечня! —
По центру чтоб любая сторона:
— Москва, она вот тут стоит,
В овершье,
А вокруг нее слагается страна...

Москва... Москва...
И то сказать: столица!
И то сказать: одна на весь народ!

А речь пойдет, к примеру, о границе,—
Она и там — строжайшая! — пройдет,
По контуру,
И тут вот — близко-близко,
Уж ближе нет —
У сердца и виска.

Хасан, он вон где — в сопках уссурийских,
А шрам, он вот — над бровью Рудяка
Горит,
Горит
Зарубинкой багровой
И знать дает
Наглядностью своей,
Что нет ее, огромной-преогромной,
Земли родной
Без родинки на ней,
Без пяди нет,
Без краешка,
Без края,
Без колоса с державного герба.

Случись беда! —
И крайняя
Не с краю
Окажется та самая изба,
Где жил твой дед,

Где сам ты, чтоб родиться
И вырасти с годами в мужика,
Был — так ли, нет —
В отцовской рукавице,
Где грелась материнская рука.
Был песенкой
От радости и грусти,
Был лесенкой
От неба до земли...

И лишь потом —
Допустим, что в капусте,—
Тебя, чуть больше vareжки, нашли.

И с той поры
По собственной охоте
Ты топ да топ от печки в той избе...
И вроде бы не ваше благородье,
А вот, поди ж ты, сызмала тебе
Такой простор!
И косвенно и прямо —
Тебе,
Тебе
На вырост заревой...

Ах, что ты, мама,
Погоди ты, мама!
Простор зовет — какое там «домой»!

А КАК ЖЕ БЕЗ ЕЖА?

1

А день-то, день!..
Он тоже был в ударе,
Верней сказать, во градусе страды,—
Снял с утра
И все четыре дали
Веселым оком
С вёдрой высоты
Оглядывал от моря и до моря
И сам, как море, в маревой дали
Волнил с низов окольные подворья
На жарком створе
Неба и земли...

И плыл,
И плыл,
И видел все,
и ведал,
И даже то из виду не терял,
Как ты косил,
Как полднел-обедал,
Как ложку-востроноску вытирал,
Как пил с колен из копанки бесхозной,
Как лег крестом в метелки щавеля,—
Все,
Все он зрил,
Твой славный, твой покосный
День-день-денек!

И — тихо, ты! — шмеля
Осаживал,
Чтоб слушал, бестолковый,
Как вон за той копейкой,
У стожка,
Брала за жабры Нюрка Рудякова —
Кого б, ты думал? —
Мужа.
Рудяка.

И вот как жгла законного,
Уж вот как
Выжаривала — смерть, а не жара:

— Тебе бы все — гектары, сотки-сводки,
Тебе бы все — пуды да центнера,
Да лошади,
Да разные писульки
Правленские...
А где душа?
Душа
В кирзу ушла,
Под хвостик этой сумки,
В огрызок твоего карандаша!

А скажешь: нет?
Ведь это ж надо,
Надо
Дойти до самодурости такой,
Чтоб взять вот так
И перед всей бригадой
Охаять царня.
Что он — хлюст какой
Иль твой холоп?
Метелочку к метелке
Он вон как рядом цвет кидал на цвет.
А ты?
А ты...

Да я б на месте Тоньки
Тебе б такой сыграла культпросвет,—
Взяла бы вот
И сумкой, сумкой этой
Всю хмури твою правленскую —
Вот так! —
Соскрябала с носатого портрета!
У них любо-о-овь!..

И тут уж,
Тут Рудяк
Не выдержал —
Поднялся буря бурей
И тоже горячей, чем горячо,
Наддал жене:

— А конь-то что — бандура
Под их любовь?
Он до свету еще
Уздой умылся,
Поводом утерся
И — сыт не сыт —
Работал как тягло,
А тут его — ты ж видела! —
Для форсу —
Копыта мало, подавай крыло! —
И в хвост
И в гриву, бедного!..

Так это
Она и есть, по-твоему, душа?!

Душа... Душа...
Согласен: бога нету
И черта нет,
Но как же без ежа?

2

А еж тот был,
Вот тут он был, где бьется
Живой движок
И требует: дыши!
Ну пусть не еж,

А совестью зовется
И там, где сорно, в горнице души,
И раз
И два
По праву следопыта,
Бывает, подкольнет изглубока
И даст понять:
Дорога — от копыта,
От полоза,
Река — от родника,
И далее — на что сама наука
Бросает свет:
Крыло — от колеса...

И — кто же спорит —
Скорость — это штука
Великая!
Но и нельзя,
Нельзя
Без тормоза.
Он тоже не такой уж
Чужак в дороге:
С давешних времен,
Он — бают люди — брат рулю
И кореш
Зубцу любому в ходе шестерен.

И если что,
Всегда он наготове
И крайний случай
На себя берет,
Как первый страж при скорости.

А то ведь
Один такой горячий самолет
Сверкал — был случай —
В радужном просторе
Ночной звездой
И — чем не громобой! —
Во все свои пропеллеры-моторы
Крошил

в капусту

воздух голубой:

Мол, что ж ты, а? — шумел-гремел,—
Чего ж ты
Мне в ноздри бьешь —
Разгону не дашь?
Посторонись!

А воздух что?
А воздух,
Он понимал:
Дерзает молодежь!
И потому без всякой укоризны
Всего себя

стелил

под самолет

На тот предмет,
Чтоб жив он был...

А в жизни
Возможен и такой вот поворот:

Он был, тот еж!
Он должную приборку
Провел в душе под знаком соловья
И пильцем,
Пильцем:
Видишь, мол, ведерко,
Так вот поди и полой коня
И хлебца дай — пусть корочку,—
Коль скоро
Ты сам с усам
И парень не дурак.

И ты, конечно, вял его укору,
Но — тыфу ты, черт! —

Тебя и тут Рудяк
Опередил.

Да ладно б там, напиться
Подал коню,
А то ведь — тоже мне
Христос нашелся —
Вздумал повиниться,
Понизиться:
Я, дескать, не вполне
Был прав с тобой...
И все в таком же роде
Старался —
Набивался в кумовья:

— Я воже, брат, в ребятах колобродил
И, знаешь, как страдал от соловья.

Бывало — ночь,
Луна по-над деревней
Такая вот!
А звезд над головой —
Что пчел над пчельней,
Хоть бери роевню
И огребай — обзаводишь пчелой.
Такая ночь.

И вот
В одну такую
Иду я, значит, с Нюркою своей.
Иду.
Молчу.
А он... а он ликует!
А он, смутьян смутьяныч соловей,
Дает дрозда!
«Цок-цок!..» — и с перецоком
Гремит в саду
Ручейно,
Впереток.
И — вот же дьявол! —
Током,
Певчим током,
Через прохладный Нюркин локоток
Мне в душу бьет —
Знобит, как в половодье,
И жаром жгет,
Как в детнюю страду:
«Жить-жить!..» — зовет
И прямо так наводит
На яблочко, которое в саду.
«Жить-жить!.. Жить-жить!»
И я — где чуть левее,
Где чуть правее —
Азимут держу,
Но чую,
Чую,
Чую — соловей,
И, двор минуя, точно подвожу
Под яблочко
И колебаю Нюрку:
Давай, мол, это самое
Одно
Испробуем.

А Нюрка мне с прищуркой
И говорит:
— Уж больно зелено.

— Да нет же, что ты, милая ромашка, —
Шепчу я ей:
Оно, мол, в самый раз.

А та ромашка
Руку из кармашка
И ва-ак ожварит — зяблики из глаз!
Такой удар.

А там уж растуманы,
А там уж, брат, погуще, чем тайга,
Пошла расти —
Не выкосить баяном
И в сто частушек не сметать в стога —
Разрыв-трава!

Я в голос:
— Анна! Анна!.. —
Но никакого отзыва — стена
И год
И два...

И лишь когда с Хасана
Пришел с отльичьем,
Тут уж, тут она
Дала волну —
Прихлынула, как речка,
И так вот гладит ласковой рукой
Медаль мою:
— Ах если б мне колечко,
Степан Васильич, ясности такой.

А я чего?
А я — раз я военный —
Кидаю руку под углом к плечу:
— Есть, — заверяю, — Анна Алексевна.
Колечко — что,
Я жернов прикачу!

И прикатил —
Таким я был атлетом,
Таким подъемным —
Что мне сто пудов!

А к соловью четвертого прилета
Заслал, как полагается, сватов,
И — пир горой
На той,
На красной горке:
Стаканы там и рюмочки в ходу.
Гуляй, народ!
И:
— Горько!
— Горько!
— Горько!..

А яблоч этих... яблоч в том году,
А меду бы-ы-ыло...
Больше, чем должно быть, —
И наш семейный улей загудел,
В детву пошел!
Так что учти мой опыт.

Ах, ты еще бороться захотел?
Ну что ж, давай!

3

И два таких веселых
Соплились чуб в чуб —
Где сад?
Где огород? —
И закачалось солнце, как подсолнух,
И весь —

как с горки! —

радостный народ:

Чья, чья возьмет?!
Горласт и распоясан:
Пурга косынок,

юбок

и штапов..

Покос, он — что?
Покос, он тем и красен,
Что никаких не признает чинов,
Покос — артель!
Покос — такая воля,
Такой задор:
Отстал, так подтянись!

А чин?
Что чин!
С райзо ли ты,
С райфо ли —
Бросай портфель
И рядом становись,—
Являй собой, какой ты без портфеля
Начальник есть,
Сбавляй излишний вес!

А там, глядишь, одна такая фея
К тебе проявит встречный интерес,—

Пройдет вот так,
Взглянет, как усмехнется,
Как настоит на чем-то на своем,
И где-то в мыслях
Веточка качнется
С тем яблочком, что рядом с соловьем.
И ты уже как вовсе не осенний,
А самый развесенный,
Молодой...

Покос — не просто заготовка сена
В расчете там
На мясо,
На удой.
Покос — размах,
Напор до перекура,
А в перекур —
Шутник и балагур —
Он боком восседает к перехмуру,
Как сам Балакирь:
К черту — перехмур,
А то и к бабам —
К Нюркам там, к Полинам —
На выучку,
Чтоб знал — не забывал:
Уж как она ни высока, перина,
А все ж — по их расчетам —
Сеновал
Вольней и выше будет для милбго
И радостней
Под крышей наискос...

Ну, словом, словом,
Сено — не солома,
А потому да здравствует покос!

А потому —
Бороться, так бороться —
Сошлись чуб в чуб!
Женатый с молодым.

Рудяк — гора, медведь в штанах:
Упрется —
Куда тебе!
И все же ты над ним —
Ура! — взял верх.
А может, он поддался?
Все может быть... А что?
Все может быть.

Но тот денек,
Он так и не смеркался
В твоей душе.
Его не позабыть.

И ЖИТЬ БЫ, ЖИТЬ...

1

А тишина!..
Замри и чутким ухом
Прислушайся к шагам из тишины —
И ты услышишь:
Ночь идет по кругу,
И порошинки шорохов с луны
Метет к ногам
И точит,
Точит,
Точит
Не вечное — дошкольное перо
О серп луны,
О птичий коготочек,
И пишет,
Пишет,
Пишет набело
Послание дню:
Мол, так-то, брат, и так-то,
Ты уж прости, что слитно так пишу,
Что только факты,
Контурные факты,
Без всякой там расцветки привожу.
Ты уж прости
И, темную такую,
Меня за это строго не суди,—
Я над Валдаем облака стою
И — Дон свидетель —
Спорые дожди
Струна к струне
Струню рукой незрячей
И ошупью тяну с веретена...

Ведь я-то знаю:
Ты придешь горячий,
Сухой придешь,
А рожь и в ползерна
Не налила..

И всё
В таком же роде
Писала, как вязала узелки.
И где-то там —
Смотри на обороте —
Во глубине светящей строки,
Там,
Там, гляди, у города Боброва,
К селу поближе,—
Там вон,
Там как раз,
У самого стеснительного слова:
Люблю..
Люблю..
Там было и про вас.
Про вас там было
И про то крылечко
Подлунное,
У тополя в тени...

Ах, Тонька, Тонька..
Вся она как речка!
Попить — попей, а переплыть ни-ни.

Такая ночь!
И ты по первоцвету
Был так светло той ночью осветлен,
Что жить бы, жить
И править жизнь к рассвету,
Но человек...

А человек ли он?

Как раз в тот миг,
 Когда, скользнув, сломался
 Неясный луч
 На гребнях темных крыш,—
 Он,
 Чьи полки стояли на Ла-Манше,
 Он,
 Чье гестапо мучило Париж,
 Он,
 Он в тот миг,
 Когда заря ступила
 На синий край завислинских лесов,
 Он — черный канцлер —
 Танковым зубилом
 Своих тяжелых бронекорпусов
 Взломал восток,
 Расклинил от Петсамо
 До Таврии:
 Блицкриг!
 Блицкриг!
 Блицкриг!
 И день воскресный
 Стал началом самых
 Убойных лет.
 А сколько будет их? —
 Поди узнай.
 Огонь
 И лютый натиск
 Прицельно бьющих,
 бреющих
 крестов...

И тот рассвет,
 Как юный лейтенантик,
 Который — представляешь! — только что
 Заставу принял,
 Вырос на пороге
 В косом проеме
 сорванных
 дверей:

— В ружье!
 — В ружье!

И молния тревоги
 Безмерной протяженностью своей
 Ударила,
 Ветвясь по всей огромной
 Стране твоей —
 В длину и в ширину —
 И каждого касаясь поименно
 И кучно всех,
 Ушла и в глубину
 Истории —
 Туда,
 К мечу Донского
 И Невского — в седые времена,—
 И восходя от поля Куликова,
 От волн чудских
 К холмам Бородина,
 И далее —
 оттуда,
 из былого —

Сюда,
 Сюда,
 В рассветные поля...

— В ружье!
 — В ружье!.. —
 Прямой дымился провод,
 Как шнур бикфордов, у виска Кремля.

— В ружье!
 — В ружье!.. —
 По градам шло,
 по весям,
 В набатное —
 вставай! —
 переходя...

Да ты войди,
 Войди,
 Войди в железо,
 Кремень-слеза,
 Как в землю ток дождя!
 Войди,
 Войди
 И все четыре дали

Кольчужно
 там,
 внутри самой брони,
 Свяжи,
 чтоб не крошились при ударе...

А ты, земля, еще родней сродни
 Страну с Москвой,
 Москву со всем народом,
 Дай,
 Дай упор во глубине веков,
 Яви свой гнев —
 Скажись набатным сводом
 Согласных всех
 И сродных языков.
 Скажись-ударь
 Везде и отовсюду
 Глагольным боем от лица зарп:
 Вставай!
 Вставай!
 Вставай, народ!
 Да будут
 Твои неколебимы Октябри!
 Вставай,
 Вставай
 Под ратные знамена
 Громадой всей
 И тут и там, вдали!

3

И встал народ.
 Их было миллионы,
 Работников.
 И все они ушли
 Туда,
 Туда —
 В огонь ушли.
 А скоро ль
 Вернется кто? —
 Не спрашивай — гляди.

Ушел отец.
 Шабров ушел.
 Угорин.
 Ушел Рудяк...

Но прежде чем уйти,
 Он косу взял,
 Отбил ее — ты вспомни,—
 Ни трещинки на лезвии стальном.
 А в остальном:
 — Ну, полно, Нюра, полно... —
 Обнял жену.

Да разве в остальном
Обнимешь все? —
И рожью,
Рожью,
Рожью
Ушел мужик
За синий край полей...

И лошади ушли, что помоложе,
И трактора ушли, что поновей.
Ушли,
Ушли...

В то лето у порога
По всей стране
Стояла вся страна.
И почта пригорюнилась.
Дорога,
И та спрямилась — вот она, война!

А Я ВСЮ ЖИЗНЬ ИЗ ДОМУ

1

Ко мне приходит облако.
Оно
То радостью моей осветлено,
То — что скрывать —
Омрачено печалью...

Оно придет —
И даль сомкнется с далью,
И памятью уйдет в мои глаза,
Как степь,
Как поле — просекой в леса,
Как горы в небо,
Речка за излучку,
Как за год — год...

Была ль змея гадюкой? —
Сверкнет во мне,
И я уже стою
Мальчишкой
Там,
У детства на краю.

Стою босым,
Стою белоголовым,—
И крик во мне
Никак
не вспыхнет
словом,

Не вырвется,
Как выплеск ножевой.

И я в траве,
Как столбик межевой,
Недвижно стыну посредине лета:
У ног моих искольчатая лента
Течет,
как деготь

с крапинкамп льда,
И даже тенью леденит:
Беда!

Беда!
Беда! —
Как будто из погребца,
Подгрудно бьет,
Подсказывает сердце:
Бежать!
Бежать!
Бежать во весь опор

На голос матери:
— Домо-о-ой!..
Домо-о-ой!..

С тех пор
Он — голос тот,—
Как вспугнутая птица,
И днем и ночью
Надо мной кружится,
Зовет,
Зовет,
И летом и зимой:
— Домо-о-ой!..
Домо-о-ой!..

2

Какое там «домой»,
Когда война!

И я
Во всем зеленом —
Зеленый сам —
В пыли,
В поту соленом,
В развернутых цепях на тыщу верст
Ложусь,
Ползу...
— Ур-р-ра-а!.. — и в полный рост
Встаю,
Бегу,
Глушу огонь огнем...

Теперь все это в облаке моем
Ко мне приходит.

А бывает так:
Танк многотонный,
Крестобокный танк,
Берет меня — я вижу! —
В перекрестье
И весь наш взвод,
С холмом, с окопом вместе,—
За бруствер,
Как за шиворот, берет:
Под крест!
Под крест!
Под крест вас всех!.. — ревет
И тянет всех
Под гусеничный ляг:
Сотру!
Сотру!
Сотру не только вас —
Сотру всю Русь!..

Но — слава бронбойцам! —
Он сам горит!..

3

Постой!
Да это ж солнце
Встает в окне — лицом к пережитому,
И радно поет про Сулико...

Ах, как относит память далеко!
— Домой!.. Домой!.. —
А я всю жизнь из дому.

Москва, Коршево
1965—1977

СУД ПАМЯТИ

Поэма

1

Он шел в засеянный простор,
В зарейские поля.
Вокруг него во весь напор
Работала земля.
Вся до корней напряжена,
Вся в дымке голубой,
Она щедра, земля,
Она
Поделится с тобой
Своим трудом,
Своим зерном,
Ни грамма не тая.
А чья она?
Ей все равно.
Да жаль, что не твоя,
Как облака,
Как тот завод,
Как теплый ветерок.
Тропа —
И та тебя ведет
На бюргерский порог.
И там, быть может,
Ждет ответ
Такой, как в те года:
«Работы нет».
«Работы нет».
И что тогда?
Тогда...

Тогда на все ему плевать.
Да, да,
На все плевать!
Он будет пули отливать,
Как все,
И есть и спать.
Беречь себя
И свой покой,
Не думать —
Лишний труд,—
Какую даль,
Рубеж какой
Они перечеркнут,
Чье сердце,
Грудь
И чей висок
Придется им прошить...
А память?
Память — на замок,
Чтоб не мешала жить!

Он так решил.
Он думал так
Себе же вопреки.
И с каждым шагом — тверже шаг.
И круче взмах руки,
И шире поворот плеча
И разворот груди...

И вдруг земля —
Совсем ничья —
Открылась впереди.
Совсем ничья
И вглубь и вширь
Раздвинула поля.

Пустырь.
Полынистый пустырь,
Забывтая земля.
Ни колоска здесь,
Ни креста
И ни следа борозд.

И Герман Хорст шагнул
И стал,
И вспомнил Герман Хорст:
Он здесь стоял
Еще тогда,
В тридцатые года...

Стоял по правилам по всем
Он,
Двадцати трех лет,—
В полынный цвет
Железный шлем,
Мундир — в полынный цвет.
Весь начеку,
На все готов,
Румянощек,
Безус.
Как отпущенье всех грехов,
На пряжке:
«Готт мит унс!»¹
Приклад — в плечо.
Азарт и страх
В прищуре рыжих век.
А перед ним в трехстах
Шагах
Фанерный человек
Стоял,
Не замышляя зла,
С безликой головой.

Дрожала мушка и ползла
По корпусу его.
Ползла,
Как было учтено
Внимательным зрачком,
Туда,
Где сердце быть должно
Под черным «пяточком».
Ее инструкция вела
И чуткая ладонь.

— Огонь! —
И пули из ствола
В мишень
метал огонь.

— Огонь!
— Огонь! —
И Герман Хорст
Как надо брал —
Вподсек.

Но тот — фанерный —
Под откос
Не падал человек.
Не отвечал огнем, чудак,
Не клял,
Не умолял.

¹ «С нами Бог!» (п е м.)

А он — живой —
Стрелял,
Да так,
Чтоб насмерть,
Наповал.
С плеча!
Откинувшись слегка,
С колена!
Лежа бил!

Пустырь.
Могильная тоска,
Хотя здесь нет могил.

Здесь только гильзовая жесть —
Вразброс,
Не сосчитать.
Не счесть и тех парней,
Что здесь
Учились убивать.

Их было много,
Молодых,
В шинелях и броне.
Вели,
Развертывали их
В тот год — лицом к войне.
Курки — на взвод.
Полки — на старт,
Готовые к броску.
Нетерпеливый шорох карт
И порох начеку.
И фюрер плоскую ладонь
Над касками простер:
— Огонь! —
Развернутый огонь
Накрыл
живой
простор.

— Огонь!
— Огонь!..
На сто дорог
Вдоль западных границ
Вломилась тысячи сапог,
Колес
И гусениц.

И Герман Хорст
В лавине той —
В сукне, в дыму, в пыли —
Был малой точкой огневой
В масштабе всей Земли.

А в точке той,
Под тем сукном
Казенным,
В глубине —
Живое сердце билось.
В нем —
На дне,
На самом дне,
Был тот росток,
Что в сотни линз
Нельзя найти,
Поймать,
Но он вмещал в себя всю жизнь,
Что подарила мать.
И первый свет,
И первый шаг,
И первую весну.
И Рейн,
И заводь в камышах,
И просто тишину,
И просто лодку,
И причал,
И свет девичьих глаз.

Он то вмещал,
Что запрещал
И оглушал приказ:

Солдат!
Он должен быть жесток
И, как взрыватель,
Прост.
Над нами бог,
И с нами бог!
— Огонь! —
И Герман Хорст
Поштучным,
пачечным,
строчным

С колена бил,
С брони
Не по фанерным —
По живым.
И падали они
И вниз лицом
И к небу — вверх —
В хлеба,
в осоку,
в ил.

Германия — превыше всех,
Превыше их могил.
Превыше слез,
Превыше мук
И шире всех широт!

Пылал
И пятился на юг
Французский горизонт.
Поштучным,
пачечным,
строчным

Бесился автомат.
И он, солдат,
Срастался с ним.
И сам, как автомат,
Тупея,
Гнал перед собой
Убойную волну
Из боя — в бой.
Из боя — в бой.
И из страны — в страну.
Из боя — в бой.
Из боя — в бой..
Он шел.
Из года в год.
И убивал.
И сеял боль
На много лет вперед.

Сироты с болью той растут,
Стареют старики
И не вершат свой правый суд
Той боли вопреки.
Ведь как узнать,
Кто управлял
Той капелькой свинца,
Что где-то сбила наповал
Их сына или отца?

Кто скажет им,
Где он живет,
Тот человек — не зверь?
В каком кафе он кофе пьет,
В какую входит дверь.
Чтоб постучать к нему рукой,
Войти
Не наугад?
И жив ли он?..

А он живой.
И в том не виноват,
Что не отмщен,
Что не прощен,
Что жив он, не убит,
Что не скрипит протезом он,
Что сына он растит,
Что у него работы нет,
Как двадцать лет назад,
Когда он был в шинель одет
И...
Вскинув автомат,
Поштучным,
 пачечным,
 строчным
Шесть лет он брал вподсек.
А кто там падал перед ним —
Француз, хорват или грек?..
Он не расспрашивал.
Он бил
Юнцов и пожилых.

Пустырь...
Пустырь...
Здесь нет могил.
Но здесь начало их.

2

Еще не мог он,
Герман Хорст, понять,
Рожденный жить,
Что значит быть и небыть,—
Его отца
Искусству убивать
Здесь обучал
Сухой, как жесть, фельдфебель.
По правилам положенным,
По-пруски.
С колена,
Лежа,
Как устав велит.

Потом отец
Стрелял в каких-то русских
И сам каким-то русским был убит.
За что убит?
И где зарыт?
О том
В письме казенном
Скучно говорится.

А сын его,
Не встретившись с отцом,
В пятнадцать лет
Зачислен был в арийцы.
В шестнадцать лет —
Еще совсем юнец! —
Он собирал охотно автоматы
И вырастал.
И вырос наконец!
И, как отец,
Произведен в солдаты.
И, как отец,
Походно-строевым
Шагал сюда
В составе рослой роты
И по фанерным
Бил, как по живым,
Из автомата собственной работы.

Потом — Париж.
Потом — Белград.
Потом
На Крит ступил

Одним из самых первых.
И был Железным награжден крестом
За тех
Живых,
Похожих на фанерных,
Его ладонью пойманных в прицел,
Убитых им
И раненных частично.

Тот крест вручал высокий офицер
С отлогим лбом
И говорил:
— Отлично!
Он говорил,
Тот офицер, о нем,
О нем —
О гордом крестоносце райха,
О том, что он,
Владеющий огнем,
Не знает слез
И собственного страха.

А страх тот был,
Его не обмануть,
Не откеститься, нет!
Не отпереться.
Подкожный страх!
Он восходил, как ртуть,
Со дна небронированного сердца.
Бросал к земле,
Когда свинец свистал.
Вопил о жизни
В толчее снарядной.

Он был, тот страх,
Он рос,
Он нарастал,
Как тот огонь
Ответно беспощадный.
Чужой огонь!
Он гнал его назад
От призрачной победы
До разгрома.
Назад!
Назад!..
В родимый фатерлянд,
К себе домой!

А дома
Вместо дома —
Развалины.
И не войти туда,
Не разгрести железные торосы.
И были слезы.
Были слезы!..
Да!
Не чьи-нибудь,
А собственные слезы.

Была весна.
И первая пчела
Прошла над ним,
Как пуля мимо цели.
И — слава богу! — голова цела.
И — слава богу! — руки были целы.
Он жив!
Он жив!..
И продолжалась жизнь.
Иная жизнь —
Не по штабному знаку.
Без наспех накрывавшего:
«Ложись!»
Без на смерть поднимавшего:
«В атаку!»

И можно было просто так смотреть,
Вставать, идти,
А не шагать, не топтать.
Почти всю жизнь работавший
на смерть,

Он стал на жизнь,
На тишину работать.
Он не жалел ни пота своего,
Ни сил своих,
Чтоб выйти из разрухи.
Но все, что строил,
Было не его.
Ему принадлежали

только руки
И тот ночлежный уголок —
В залог
Все тех же рук,—
Простой и голостенный,
Где завязался
Поздний узелок
Его любви,
Семьи послевоенной.

Родился сын.
Его любимец — сын!
И сразу стал
Властителем забавным.
— Дай-дай! — кричал.
И не было причин
Его творцу
Припоминать о давнем.

Привычный труд.
Уют.
Кофейный дух.
Кино в субботу.
Кирха в воскресенье.
Все было так незыблемо...
И вдруг,
Как гром зимой,
Как гул землетрясения...
Не рухнул дом в расшатанную жуть,
Не раскололось зеркало паркета...
Лишь только сердце
Сдвинулось чуть-чуть.
Он —
Потрясенный —
Шел из кабинета.
Шел
Как в тумане,
Шел
Как на волнах,
Не шел,
А плыл, казалось, по теченью.
И голос шефа
Громычал в ушах:
Я должен вас уволить,
к сожаленью.

Покойной ночи.

Но какой покой,
Когда штаны и нервы на износе?!
Чужие стены.
Потолок чужой.
И в волосах
Пугающая осень.
Какой покой,
Когда не те года,
Не та в руках
Сноровистость и сила?!
Давным-давно прошедшая беда
Нашла его
И вновь ошеломила.

И на висках все больше седины,
И взгляд жены

Все строже,
Все печальней.
И расходились вещи в полценны
В чужие руки
И в чужие спальни.
Все прахом шло!
Осталось лишь одно —
Идти в поля:
Там тише всё и проще,
Не так тревожно
И не так тесно.
Там плещет Рейн,
Там зеленеют рощи.
Там на ветру в содружестве с весной
Земля хлеба возносит над собою...

Он шел в поля,
Смягчался за спиной
Железный пульс
Машинного прибора.
Цвела ромашка,
Ячмени цвели.
Кузнечик прыгал,
О своем кузнечачье...
И вот он, позабытый клочок земли.
И вот она, негаданная встреча...

3

Здесь сеять хлеб
Давно
Запрещено.
Звенеть колосьям
Не дано
Под солнцем.
Пустынно-беспризорное пятно.
Оно в округе
Поле не зовется.
Ни пастбищем.
Ни кладбищем.
А стрельбищем.
Ни стада здесь,
Ни сада,
Ни гробниц.
Здесь сорнякам
надежное убежище.
Здесь место тренировки
для убийц.
И странно даже,
Что пустырь молчит.
Не полоснет вдруг
строчкой
пулеметной.

На безработном
Стрельбище
Стоит
Не уберменн¹,
А просто безработный.
Стоит без каски,
Сгорбившись слегка,
Не в сапогах,
А в стоптанных ботинках.
В его глазах —
Полынная тоска.
Стоит один.
Стоит как на поминках
Своей шинельной юности.
Ему
Не двадцать три,
А далеко за сорок...

У ног полынь
В нетающем дыму,
И муравьи рассыпаны,
Как порох.

¹ Сверхчеловек (н е м.).

Он быстро
в комнату
вошел.

Насвистывая что-то,
И пули
высыпал
на стол.

И отшатнулась Лотта,
И тихо вскрикнула:
— Не смей! —
И выронила блюдо.
Стоит и смотрит,
Как на змей,
Не смея шевельнуться.

А муж насмешливо глядит,
Плеча ее касается.
— Они ручные,—

говорит,—
Не бойся, не кусаются.
Они,— он пулю взял,—
Смотри,—
Не дрогнула рука его,—
Железка, да?
А что внутри,
В рубашке обтекаемой? —
С ладони бросил на ладонь,
Потом схватил щипцами
И сверху клювом —
На огонь,
На газовое пламя.
Сощурил серые глаза
Прицельно,
Не мигая...
И вдруг —

свинцовая слеза.
Одна...
Потом другая.
Еще одна.
И в тот же миг
На плитке

стыли
липка.
И Герман Хорст,
Святая их,
Не мог сдержать
улыбки.

Поражена
Жена.
И сын
Заерзал вдруг на стуле
И, подойдя к отцу, спросил:
— А разве плачут пули?

Споткнулась,
Дрогнула рука
В ветвистых
синих
жплах.

И тишина
До потолка
Все звуки обнажила,
Как будто в комнату тайком
Внесли на миг покойника.
Стучат,
Стучат,
Как молотком,
Часы у подоконника.
И пламя

сухо
шелестит
Упругим
синим
веером,

Отец молчит.
И мать молчит,
Молчат,
Молчат растерянно.
И только Лотта
наконец

Сказала:
— Что ты,
Руди!
Ведь это капает свинец,
А плачут только люди,
Когда им больно,
Мальчик мой,
Когда им очень трудно.

И встала к Герману спиной,
Лицом —
К стене посудной.

*

Уже давно,
сойдя на нет,
Закат вдаль разветвился.
И лунный свет,
Высокий свет
С наземным светом встретился.
И кто не спит,
Тот видит их
В подлунном полушарии
На московских мостовых,
На прикарпатских буровых,
В Брюсселе
И в Баварии,
В больших и малых городах,
На крышах улиц сельских,
В лугах альпийских
И в полях —
Простых
И Елисейских.

Весь правый бок Земли залит
Их маревом трепещущим.

И Хорст не спит,
Он говорит
Не о луне —
о стрельбище.

О старом стрельбище.
Да, да!
Как о великом чуде.
— Я то открыл,
Что никогда
Не открывали люди.
Там, знаешь,—
Кладбище свинца.
А он
Не разлагается.

Там —
пули моего отца,
Его отца
И праотца.
Мой!
И сверстников моих.
Ты понимаешь,
Лотта!

Представь себе,
Представь на миг:
Идет, идет пехота.
За взводом — взвод.
За взводом — взвод,
Идет.
За ротой — рота,
Из года в год.
Из года в год...
Ты представляешь,
Лотта?

Полки,
Дивизии идут
С винтовками
и ранцами

Туда,
На стрельбище,
И бьют
С отмеренной дистанции
По всем мишеням,
По щитам,
Пока не врежут в яблочко...

Так вот попробуй
Посчитай.
Там пуль —
Как пуха в наволочках!
В песке — они!
В корнях — они!
Там их —
Как зерен в пашне!..
В сигару, в палец толщины...
Ты что молчишь?
— Мне страшно.
Отец убит,
И брат убит.
А ты...
А ты, как маленький!.. —
И вдруг заплакала навзрыд.

— Ну-ну! Давай без паники.
Я тоже там горел в огне.
И не сгорел.
Так что же мне
Рыдать?! —
Он встал с постели. —
Я ж говорю не о войне,
Я говорю о деле.
Свинец!
Пойми. Не в руднике.
А наверху. Нетронутый.
Копни песок —
и он в песке.

Не пригоршня,
А тонны там!
Свинца.
А у меня — ключи.
Так что ж мне, плакать надо?
Свинец во много раз,
учти,
Дороже винограда.

Он закурил.
Молчит жена.

Вплывает
медленно луна
В квадрат окна.
А под луной,
С луной
И звездной тишиной,
Летит бескрайний
Шар земной.

5

Летит Земля
С восхода до восхода,
Из года в год
Со скоростью мгновенной —
Великая! —
В ногах у пешехода,
И капельная точка —
Во Вселенной.

Единая!
С пятью материками
И с выводками разных островов,
Спеленатая мягко облаками,
Овеянная тысячью ветров,
Летит Земля.
Вся в росах и туманах,
В потоках света,
В посвисте снегов.

Пульсрует в ручьях и океанах
Вода —
Живая кровь материков.
Она то струйкой вяжется неясной,
То многобальной
дыбится волной.

Не будь ее —
И не было бы красной,
И не было бы лиственно-лесной.

Земля добра.
И голубая Вега
Не может с ней сравниться,
С голубой.
Она
Собой
Вскормила человека
И гордо распрямила над собой.
Дала ему сама себя в наследство
И разбудила мысль
В потемках лба,
Чтоб превозмог
свое несовершенство

И победил
В самом себе раба,
Восславил труд,
И совершил рывок
В надлунный мир,
И подступил к везувиям.

Но что Везувий?
Огненный плевок!
Он несравним
С продуманным безумием
И с тем огнем,
Что расфасован был
Побатальонно и побатарейно,
Проверен на убойность,
На распыл
На полигонах Аллера и Рейна.

Везувий слеп.
И потому не мог
Увидеть,
Раскаленно свирепея,
Помпею,
задремавшую у ног.
А если б видел —
Пожалел Помпею.
Он — великан! —
Не метил в вожак
И не мечтал
арийцем воцариться...

А эти
Чистокровные полки,
А эти
Человеко-единицы
Шинельной лавой
шли в пределы стран
И, метко щурясь,
Разносили тупо

Осколочно-
свинцовый
ураган,
Что был сработан
на заводах
Крупна.

И шли...
И шли...
И размножали зло,
Переступая трупы и окопы,—
И громыхало стрельбище,
Росло
Во все концы
контуженой
Европы.

Горел Эльзас.
Горел Пирей.
Донбасс.
Гудел фугас
Под лондонским туманом.
И кровь лилась!
Большая кровь лилась
Всеевропейским
пятым океаном.

Горел весь мир!
И расступалась твердь,
В свои объятия
принимая павших —
И тех безумцев,
Разносивших смерть,
И тех героев
Смертью смерть поправших.
Всех возрастов.
В крестах
И орденах.
Рожденных жить
И сеять жизнь рожденных...

А сколько их
Покоится в холмах
И победивших стран
И побежденных!
Их миллионы!
Целая страна
Ушла ко дну,
в дымы ушла,
в коренья.

О, если б вдруг восстать могла она
И сдвинуться
к началу
преступленья
Со всех морей,
концлагерей,
земель
Разноплеменным
фронтом
поранжирным!

Германия! —
Той бури колыбель —
Она бы стала
Кладбищем всемирным.
Страной могил.

Но мертвым не дано
Такого чуда и такого права.

Летит Земля!
И с нею заодно
И облака,
И города,
И травы.

Ночная тень смещается,
В морях
Потоки рек встречаются пространных.

Смещаются и стрелки на часах,
На башенных часах
И на карманных.

Европа спит.

Свинцовая луна
Стоит над ней в холодном карауле.
Горят огни,
Струится тишина.
И пули!
Пули!..
Маленькие пули
Лежат в земле
И пролежат века
Уже бессильно,
слепо,

безголосо
Там, где на цель их бросила рука,
На рубежах кровавого покоса —
У стен Дюнкерка,
У днепровских вод,
В песках ливийских,
В придунайском иле...
Истлели те,
кого они убили.

А их —
свинцовых —
Тленья не берет.
Их миллиарды, маленьких!
Они
В коре деревьев,
В пахоте
И дерне,
Еще из первой мировой войны.
Их сок обходит,
Сторонятся корни.
Под Калачом,
Уйдя в ночную глубину,
Бессонный трактор залежь
поднимает,

И пуля,
Словно камешек на зуб,
На острие стальное попадает.
И, повернувшись медленно,
Опять
Ложится в землю,
Как зерно ложится...

Витают сны.
Встает под Куреском мать:
К ней сын явился!
Кубики в петлицах.
А на плечах — какая радость! —
Внук!
Она к нему протягивает руку,
Включает свет —
и никого вокруг.

Стоит одна.
Ни шороха,
Ни звука...
Дверь — на крючке.
Стена!
А на стене
Смеется молча парень
в гимнастерке.

А там,
На оборотной стороне
Большой Земли,
В полуденном Нью-Йорке,
Заныла рана старая.
Шофер,
Зубами скрипнув,
Отвернул с Бродвея
И застонал...

И все края п уголки,
Проснувшись,
Озвучаются.

Гудки!
Гудки!
Гудят гудки
Все громче, все напористей.
Стучат повсюду каблукИ,
И нарастают скоростИ
Обычных дел,
И первый пог
На лицах серебрИтся...

Встает рассвет.
И Хорст встает,—
Он начинает бриться.

*

Ведет во двор велосипед,
А там
Безногий Курт — сосед.
— Салют! — хрипит.
— Постой! — хрипит.
И, приподнявшись с лавочки,
Наперерез
Скрипит, скрипит
На костылях,
На палочках.
— Ты представляешь, Хорст!..

Опять.
Ты понимаешь, Герман,
Опять не мог спокойно спать,
Опять, наверно, нервы.
Как будто я,
Как в том году,
Иду на третий круг —
В крестах иду —
И на ходу
Огонь пускаю с рук.
Пускаю маленьким.
А он
Огромным возвращается
И на меня со всех сторон
И на тебя кИдается.
Реве-ет!..
Полнеба очертя,
И обрывает фланги нам...
Разры-ыв!
И я...
Ко всем чертям
Лечу-у
Безногим ангелом!
«Ура!» — кричу.
А боль в груди
Выламывает душу...
Да ты не смейся, подожди.
Да ты постой, дослушай.

А сам смеется.
Сам скрипит
На костылях, на палочках.

— За облака лечу...
В зенит!
Шинель — в кровавых бабочках.
Лечу-у!..
Лечу!..
Лечу-у... до звезд..
И
Приземлиться некуда.
Ты представляешь, Хорст! —

А Хорст:
— ПогОм доскажешь.
Некогда.

7

Все тот же вал.
Все тот же мрачный дот,
Самим собой
Недвижно отягченный.
На нем скворец оставил свой помст.
Склевал росу
На лысине бетонной
И улетел.

А дот к земле приник
И тупо смотрит в трепетную точку.
Казалось: миг —
И огненный язык
Покажет он
И пулеметной строчкой
Сорвет скворца на утренней заре...

А где-то встрепенется
сердце матери.

На Рейне ли,
А может, на Днепре,
А может быть, и дальше —
На экваторе.

Но ти-ши-на.
Замри и не дыши!
И ты услышишь,
Как восходит солнце.

Хорст заглянул в бетонное оконце,
В холодный мрак:
Там тоже ни души.
Взошел на вал.
Полынные кусты
Еще с себя росу не отряхнули.
Черпнул песок.
И вот они в горсти,
В его горсти,
Чуть сплюсненные пули.
Одна.
Две.
Три.
В горсти!
А сколько их
Под ним,
В земле,
В крутых песчаных склосах,
Остроконечных пуль
И тупоносых,
Любых систем
И образцов любых!
Им счету нет.
Здесь каждый сантиметр
Исклеван ими
С боевых дистанций.
Здесь столько отстрелялось
Новобранцев...
Что им, пожалуй,
тоже
счету нет.

Что божий храм,
Где с именем Иисуc
Святой
Водой
Кропят новорожденных!
Сюда,
На цель,
Под знаком «Готт мит унс!»
Вели крещеных всех
И некрещеных
Простых парней.
Вели весь род мужской,
Вели

За поколеньем поколень,—
И стрельбище
Тачало в отдаленье
Пошивочно-убойной мастерской.

И вот молчит,
Молчит, как никогда
За долгий век,
Быть может, не молчало.
Здесь три войны
Берут свое начало,
И ни одна
Не вскрылась борозда.

*

Здесь пули, пули, пули —
Сплошь.
Скажи вот так —
И скажут: врешь.
Да он и сам,
Да он и сам
Не верил собственным глазам.
Как будто ночью,
Час назад,
Ушел в песок свинцовый град
И от людей таясь...
Пройдут года,
Пройдут века —
Он не вернется в облака.
Водой не испарится.
Какой посев!
Огромный вал
Набит им до предела.

И Хорст копал,
И отсевал,
И удивляться забывал:
Он просто дело делал.
Как будто вышел в огород
И роет,
Роет,
Роет...
Теперь ни бог его, ни черт
Отсюда не уволят.
Теперь он сам хозяин здесь,
Батрак и управляющий.
И сила есть
И хватка есть
В его руках пока еще.
И никаких тебе машин
И никаких деталей.
Он здесь один,
Совсем один.
И все четыре дали
Лежат вокруг.
Луга, поля
С парными ветерками.
И просто песенка шмеля,
И пули под руками.

Он отсевал их
И — в рюкзак.
А жарко стало —
Снял пиджак,
Рубаху снял,
И снова рыл,
И сам собой доволен был.

А день-то, день!
Как неземной,
Прозрачен весь
И ярок.
Метался крестик именной
Серебряный комарик —
Туда-сюда,

Туда-сюда
Над волосатой грудью...

А где-то мчались поезда,
И громоздились города,
И суетились люди
В чаду
И в лязге городском,
В цехах
И в рудном штреке —
В своем
Железно-скоростном
И потогонном веке.

А здесь — простор!
Лучей поток.
И Рейн в крутой излучке...

Хорст отшвырнул лопату,
Лег,
Крестом раскинув руки.
Ударил в ноздри трав настой.
Крылом взмахнула птица,
И небо
синей
высотой

Упало
На ресницы,
Ушло в глаза
И тишиной
Души его коснулось.
И вдруг ладьей берестяной
Земля под ним качнулась.
И он — в ладье.

И он плывет
В неведомые дали
От всех тревог,
От всех забот,
От всех земных печалей.
Плывет,
Скользит его ладья,
Без времени, без меры
Куда-то в гавань забытья,
В края

до нашей эры,
Где только штиль,
Где только синь
И солнечные пятна...

Но звук нацеленной осы
Вернул его обратно,
К своим делам.
И решето
Кружит в руках, качается —
И пули, пули
Всех сортов,
Толкаясь, обнажаются.
Совсем спокойные,
Совсем
Без высвиста,
Без высверка,
Любых калибров и систем,
От Фридриха

до Бисмарка,
От Бисмарка
И далее —
До дней последних Гитлера.
Оглаженные в талии,
Нетленные,
Нехитрые.
Одна к одной — века и дни.
Одна в одну, как сестры.
Лопатой ткну —
И вот они
Уже в руках у Хорста.
Совсем спокойные.

Он рыл
И на коленях ползал.
Он — первый!
Первый, кто открыл
В них — бесполезных —
Пользу!

8

Ведет во двор велосипед,
А во дворе — опять! —
Сосед
Сидит на лавочке.
Штаны,
Как флаги, треплет ветер...
А на развалинах войны
В войну играют дети.

Хорст вынул пачку сигарет
И закурил.
— Ну что, сосед.
Сидишь?

— Давно сижу, старик. —
И веки сузил в щелку. —
А было, брат,
стоял как штык
И каблуками щелкал.
А как шагал!
Бетон и тот,
Как палубу, шагало,
«На-право, взвод!
На-лево, взвод!»
Шагал,
а думал мало.

Вперед!
За жизненный простор!
И я
Стрелял и топал,
Да так, что шаг мой до сих пор
В печенках
у Европы.

И вот сижу, бедняга Курт,
Сижу
Безногой тумбою,
Подобно той, во что плюют.
И — представляешь! — думаю.

Он закурил
И снизу вверх
Взглянул
И сплюнул зло.
— Во-первых,
думаю о тех,
Кому не повезло.
Да, да, старик!
А во-вторых,
О вас я думаю —
живых.

Поскольку я,
Как видишь сам,
В полтела жив,
В полтела там —
На фронте
у Валдая.

А иногда я по ночам,
Представь себе,
Легаю.
Разры-ыв!
И я,
Как головня,

В созвездье Зодиака
Лечу!
А ноги
без меня
Еще бегут в атаку.
И представляешь,
старина,
На полпути до рая
Вдруг подвела меня волна,
Не донесла
Взрывная.

Срываюсь вниз —
И сам не рад:
Земля горит!
Моря горят!
И костыли мои
в огне,
В огне
Окно и двери...

Проснусь —
мурашки по спине.
Смотрю —
глазам не верю.
Рассвет на улице.
И я
Не на краю воронки.
Штаны —
мои.
Кровать —
моя.
И костыли в сторонке
Стоят, фабричные,
Вприкрыт,
Как дополнение к мебели...

Лежу и думаю, старик:
А может,
ног и не было?
А может,
я таким и рос
Всегда
По божьей милости?

Хорст по плечу его:
— Ты брось!
Ведь все равно не вырастут.

— Ты гений,
Хорст! —
Воскликнул Курт. —
А вот они...
они
Растут.

Схватил костыль
И костылем
Он ткнул перед собой
Туда,
Где дети за углом
Разыгрывали бой.

— А подрастут —
в шинельку их
И —
Под кулак фельдфебеля,
Чтоб в них,
Верзилах строевых,
И человека не было.
«А ну-ка, brave, ра-авняйсь!
А ну, болваны, р-уиг! !»
И в настоящую,
Как нас,

¹ Смирно! (не м.)

В кровавую игру их.
Вперед!
Как велено судьбой
И богом!
Дранг нах Остен!
Разры-ыв!
Разры-ыв!
И Хорст второй,
Твой Руди — блиц! — и к звездам.
Моим путем.
Ни рукава,
Ни пряжки не останется.

Запомни, Хорст, как дважды два,
Огонь — он возвращается!

Разры-ыв!
И —
В крошку города,
В лавину камнепада.
Тогда ни памяти...
Тогда
Ни костылей не надо.
Все к черту, Хорст!
Железный чад
И черный снег на грудах.
И только тени закричат
О нас,
О бывших людях.

Он смолк, порывисто дыша,
И вдруг вперед подался.
Во все глаза кричит душа,
А рот еще смеялся.
— Смотри и думай, кавалер
Железного креста.
Я памятник!
Меня бы в сквер
Живым
На пьедестал.
Не как героя, нет!
А как
Наглядное пособие.
И костыли вот так и так
Скрестить, как у надгробия,
Чтоб каждый вспомнил,
Кто б ни шел,
Про тот
 начальный

 выстрел.
Меня бы — черт возьми! —
На стол
Военного министра!

Он усмехнулся и поник,
Устало спину сгорбив.
Одни глаза...
Глаза,
А в них
Плескалось море скорби.
Закат, как память, полыхал
На пепельном лице...

Хорст понимающе вздыхал,
Но думал о свинце.

9

А по ночам, когда уснет жена,
И сын уснет,
И выглянет луна,
Он у плиты колдует не спеша,
На протвень
 пули
 сыплет
 из ковша.

Гудит огонь
В три радужных венца —
И покидают червячки свинца
Свои рубанки
С винтовой резьбой.
И вот уже
Серебряной водой
Течет свинец,
Подсвеченный слегка,
Сосульчато
 спадает

с желобка

В чугунный таз
И застывает в нем
Тяжелым льдом.

А дом,
Угрюмый дом,
Наполнен сном,
Наполнен тишиной.
Лишь костылям не спится
 за стеной.

Они скрипят и стонут,
Костыли,
Как, может быть, в лугах
Коростели.
Скрипят, скрипят
Уже который год...
А — к черту их!
Отдал бы их в ремонт.

Так думал Хорст.
И густо, не спеша
На протвень
 пули
 сыпал
 из ковша.

И ничего.
Освоился.
Привык,
Как привыкает к желудям
 лесник,
Как привыкает к голышам
 рыбак.

А может, пули
 сами
 просто так
Росли, росли и выросли?
С травой!
А может, их понакатал прибой
В давным-давно прошедшие века?

Как просто все!
Качались облака.
Плескался Рейн за валом в камыше.
И стрельбище — не стрельбище уже,
А просто место
 выроста
 свинца.

Хорст отдыхал, стирая пот с лица.
И снова рыл и просеивал сопя.
Впервые он работал на себя
За все года.
Но как-то раз,
Когда
Сошла с полей горячая страда
И ветерки стелились по стерне,
Вдруг вырос
 человек
 на пустыре.
На расстоянье выстрела как раз.
Лицо — пятно туманное,
Без глаз,
Без возраста.
По гребешку траншей

Он шел к нему, похожий на мпшень.
Взошел на вал, где сбилась лебеда,
И проступили на лице
Года,
Глаза,
Морщины,
Очертанья скул.
— Салют! — сказал
И пули зачерпнул
Из рюкзака. —
Ого! — сказал. —

А я...

А я-то думал:
Мертвая земля.
Не пахнут здесь,

не сеют п не жнут.

Ну что возьмешь со стрельбища?
А тут,
Смотри, какой тяжелый урожай,
Сплошной свинец.
— А ты давай шагай! —
Отрезал Хорст.
И, распрямившись в рост,
Лопату вбил.

Серебряный Христос
Затрепетал, мерцая, на груди.

— Ты шутишь, друг!

— Нет, не шучу. Иди.
Иди давай туда, куда идешь.
— А я смотрю, своих не узнаешь.
Когда-то вместе отливали их.
Забыл, старик?

И вдруг в какой-то миг
Все озарилось памятью.

Завод.
Патронный цех.
Тридцать четвертый год.
Течет свинец.
Не ручейком — рекой.
Сопит станок,
Как дьявол, под рукой
И вплевывает

порции
свинца

В рубашки пуль.
И пули без конца,
Отяжелев,
Срываются из гнезд...

Как просто все!

Серебряный Христос
В поту холодном под рубашкой мок.
А дальше что?
Неважно.
Видит бог!
Ему видней из райского окна.

Но оживали стрельбища.
Война
Уже шагала в крагах по стране
И убивала правду о войне.
О той войне,
О первой,
Мировой,
Чтоб, развернувшись,
полюхнуть
второй

Вовнутрь сначала,
А потом вовне —

И коммунистов ставили к стене.

А Хорст не ведал,
Стоя у станка,
Как страшно тяжела его рука.

Работа есть работа!
Без помех.
Патронный цех —
Как макаронный цех.

Сопел станок,
Плевком! —
И на лоток
Срывалась пуля
ростом с ноготок —
Праматерь всех снарядов и ракет.

И так шесть лет.
До двадцати трех лет.

Поток свинца
дробился в ливень пуль.
Что ниспадет потом на Ливерпуль,
На Брест,
На Киев
В предрассветной мгле.

Еще ходили люди по земле,
Которых эти пули подсекут.
Еще безногим не был Гофман Курт.
Еще он сам,
Судьбу свою кляня,
Не падал в ров от встречного огня
И не входил в чужие города
С огнем в руках.

Он молод был тогда.
Он жизнь любил и лодку в два весла,
Что по волнам любимую несла.
Не Лотту, нет,
А первую — Мари.
Он ей цветы альпийские дарил
И песни пел.
Он счастлив был в тот год,
Что он любим,
что принят на завод.

А рядом с ним — он помнит, как сейчас,—

Работал Ганс,
Неосторожный Ганс,
Он в цех входил и говорил при всех:
— Патронный цех —
Как похоронный цех.

Вставал к станку.
А уходя домой,
Всегда шутил:
— Почисти руки мой.
Свинец — он кровью пахнет
и дымком. —

Он слыл в цеху опасным чудаком.
И был уволен.
Что ж, не повезло!

С тех пор дождей немало пронесло
По городам,
по каскам,
по полям

С окопной глиной,
С кровью пополам
За горизонт,
За сорок пятый год...

А он живет.
И ничего живет.
Сам за себя.

Как будто я не враг,
Я сделал шаг.
Второй.
И третий шаг.
«Еще немного,— думал,— и...
Прыжок!»

Но он поднялся.
Палец — на курок.
«Теперь иди,— сказал,—
Куда ты шел! —
И автоматом на восток повел,—
Туда иди!»
И взглядом как прожег,

А я стоял
Ошеломлен.
У ног,
Казалось, обрывались все пути.
Идти назад? Да где там!
Не дойти.
Вперед идти — пустыня впереди,
Такая,
Что в обход не обойти.
Снега и пепел.
Пепел и снега.
В сравнение с ней Сахара — чепуха!

И я-то знал, оставшись без огня,
Что впереди — ни вдоха для меня,
Ни потолка,
Ни тлеющих углей.

Я человек,
Но избегал людей.
Я человек,
Но обходил, как тень,
Пожарища остывших деревень,—
Они страшней, чем минные поля.
Я человек,
Но не искал жилья.

И все ж я шел, надеясь:
Обойду,
Что где-нибудь в колонну попаду
Таких, как я.
Но с каждым шагом шаг
Все тяжелей
И неотступней страх.
Такого страха я еще не знал.
Я, спотыкаясь, тихо остывал
На ледяном,
Бушующем костре.

И вдруг — ты представляешь! —
На заре зашел петух.
Не где-нибудь вдали,
А из-под ног зашел,
Из-под земли.
И я подумал, что схожу с ума.
Какой петух,
Когда вокруг зима,
Когда вокруг ни стога, ни шеста!
Вся степь, как это стрельбище,
Пуста.
Какой там, к черту, петушинный крик!
Теперь-то что...
А вот тогда, старик,
Мне было не до смеха, не до слез.
Мороз такой!
До потрохов мороз.
Вдыхаешь лед,
А выдыхаешь прах.
Я стал сосулькой в рваных сапогах,
Я замерзал.
Я оседал, как в пух,
В глубокий снег.

А он поет, петух!
Как из могилы.
Глухо,
Но поет!

Я еле веки разомкнул:
Встает
Передо мной вот так,
Как твой рюкзак,
Пушистый дым.
И я не помню, как
Подполз к нему.

Я умывался им.
Он мягким был, как вязанный,
Жилым.
В нем теплые струились ручейки.

Вставало солнце.
И дымки... дымки...
Из-под земли
Над снежной целиной.
Я понял, Хорст: деревня подо мной,
Как кладбище.
Ни крыши. Ни бревна.

Мы все вогнали в землю, старина,
Огнем и плетью.
Мертвых и живых.
Ну как же, Хорст!
Ведь мы превыше их.
И с нами бог!

Какая ерунда!
Я это после понял.
А тогда
Все тело

ныло

с головы до ног:

Тепла! Тепла!
И я уже не мог
Держаться больше.
Все равно каюк!

Мне женщина открыла дверь.
И вдруг
Как оступилась,
Отступив за дверь,
Как будто я не человек, а зверь,
Как будто автомат еще со мной.
Забилась в угол.
За ее спиной
Дышали дети — волосы вразброс...
И только там я поднял руки, Хорст!
Да, только там. В землянке.
Только там.
Сходились люди молча, точно в храм.
И так смотрели — хоронить пора.

Вошел старик
И ручкой топора
К моим ногам подвинул табурет.
Сказал:
«Садись!»
Да разве в тот момент
Я мог кричать о долге!
Нет, не мог.
И ты б не мог.
Какой там, к черту, долг.
Когда я жег!
Ты б видел их глаза —
Смотреть нельзя.
И не смотреть нельзя.
Так только неотмстившие глядят.
Я говорил, что Гитлер виноват,
Что я солдат,
Что жечь я не хотел,

Но перед ними Гитлер не сидел,
А я сидел!
И между нами, Хорст,
Все сожжено
На сотни русских верст.
Могилы от реки и до реки,—
Ни улыбнуться,
Ни подать руки.

И все за них.
Не за меня.
Вины
Не отвести.
И все-таки они
Поесть мне дали,
Вывели. Иди!
А как идти?
Все те же впереди
Обугленные села, города...

О, как я рад был, старина,
Когда
В колонну пленных я попал!
Вина
Была уже на всех разделена
До самооправданья.
Мол, приказ
И прочее...
Что обманули нас,
Мол, хорошо, что вышли из игры...

Нам дали всем лопаты, топоры,
Сказали: строй.
Но разве топором
Я мог поднять,
Что повалил огнем?!

...Пришел домой.
А дома нет.
Была
Одна стена — отвесная скала,
А над стеной, шурша, как головни,
Вороны каркали.
Ни сына, ни жены...

А ты — герой! — о долге мне орешь.
Все это ложь!
Да как ты не поймешь,
Что, убивая нами,
Под фугас
Бросали нас
И убивали нас
На всех фронтах
Все те же, Хорст, они,
Кому всю жизнь до нищеты должны!
За хлеб должны,
За кружку молока.
За место у патронного станка.
Всю жизнь должны,
Как деды и отцы.
Подвалы — нам, а им, старик,—
дворцы.

Окопы — нам, а им, старик,— чины.
Платили кровью!
Все равно должны.
И с ними бог.
Не с нами.
С нами — долг!
Приказ: сжигай!
И я,— он встал,—
Я жег!
Устало жег.
А чаще — на бегу.
Бензином — раз! —
И дети на снегу.

Босые дети! Понимаешь ты?
А нам — кресты,
нагрудные кресты.
А нам — холмы,
могильные холмы.
Мы трусы, Хорст,
А не герои мы!

Он сел и пули наотмашь — в кусты.
— Я груб, старик, но ты меня
прости. —

И замер, глядя на полынь в упор,
Как будто это не полынь —
Костер.
Огонь... Огонь...
И дети на снегу
На том донецком страшном берегу.

11

Вы думаете, павшие молчат!
Конечно, да — вы скажете.
Неверно!
Они кричат
Всегда, пока стучат
Сердца живых
И осязают нервы.

Они кричат не где-нибудь,
А в нас.
За нас кричат.
Особенно ночами,
Когда стоит бессонница у глаз
И прошлое толпится за плечами.

Они кричат, когда покой,
Когда
Приходят в город ветры полевые,
И со звездой говорит звезда,
И памятники дышат, как живые.
Они кричат
И будят нас, живых,
Невидимыми, чуткими руками.
Они хотят, чтоб памятником их
Была Земля
С пятью материками.

Великая!
Она летит во мгле,
Ракетной скоростью
До глобуса уменьшена.
Жилая вся.
И ходит по Земле
Босая Память — маленькая женщина.

Она идет,
Переступая рвы,—
Ей не нужны ни визы, ни прописки.
В глазах — то одиночество вдовы,
То глубина печали материнской.
Ее шаги неслышны и легки,
Как ветерки
На травах полусонных,
На голове меняются платки —
Знамена стран, войною потрясенных.

То флаг французский,
То британский флаг,
То польский флаг,
То чешский,
То норвежский...

Но дольше всех
Не гаснет на плечах
Багряный флаг
Страны моей Советской.
Он флаг победы.
Заревом своим
Он озарил и скорбь
И радость встречи.
И может быть, сейчас покрыла им
Моя землячка худенькие плечи.

И вот идет,
Печали не тая,
Моя тревога,
Боль моя и муза.
А может, это гданьская швея?
А может, это прачка из Тулузы?
Она идет,
Покинув свой уют,
Не о себе — о мире беспокоясь.
И памятники честь ей отдадут,
И обелиски кланяются в пояс,
От всех фронтов,
От всех концлагерей,
От всех могил
От Волги до Ла-Манша.
И молча путь указывают ей
На Рейн,
На Рейн,
На огоньки реванша.

Они горят — запальные —
Во мгле
Преступного, как подлость,
Равнодушия —
У генералов на штабном столе
И в кабинетах
Королей оружия.
И где-то там, на Рейне,
Где-то там
Начальный выстрел зреет,
Нарастая...
Но Память не заходит к королям.
Она-то знает, женщина простая:
Что королям!
Им слезы не нужны,
Как плак войны,
Как прочие отходы.

Встает заря с восточной стороны
И обещает добрую погоду.
Уже алеют облаков верхи.
И над Москвой,
И над моей деревней.
Поют на Волге третьи петухи.
Вот-вот ударят первые на Рейне.
И ночь уйдет.

Пора бы спать.
Но Хорст
Еще не спит, не выключает плитки.
Еще немного, маленькая горсть —
Остаток пуль.
И голубые слитки
Лежат у ног,
Округлы, как язи,
И тяжелы, как мельничные гири.
Теперь — в постель.
Он пламя погасил.
Который час?
Без четверти четыре.
А ровно в шесть он должен встать.
Жена
Ему в рюкзак положит бутерброды.
Он так устал...

И в этот миг Она
Вошла.
— Ты что? — и отшатнулся. — Кто ты?

— Не узнаешь!
Я Память о войне. —
И запахлаешься красным полушалком.
— Ты русская! Тогда зачем ко мне?
Я не была там.
— Но я и парижанка,
И чепка я...
Побудь в моих ночах,
Моей печалью и тревогой маясь.

Менялись флаги на ее плечах,
Черты лица и голоса менялись.
И лишь слеза — одна на всех.
Со дна
Людского немелеющего горя.
В ней боль одна
И скорбь одна.
Она
Везде и всюду
Солона, как море.
Одна слеза.
И гнев из-под бровей
Один
В глазах,
как исповедь,
открытых.

— Я мать тобой убитых сыновей.
Тобой убитых
И тобой забытых. —
Одна слеза.
И блеск седины
Один,
Как блеск свинца
И пепельного снега.

— Ты слышишь,
Как гремит в моей груди
Твоим огнем
Разбуженное эхо?
Ты слышишь, Хорст?!

И грозно, как судья,
Свою,
В мозолях,
Завесла десницу.

— Так пусть войдет бессонница моя
В твои глаза
И опалит ресницы
Моей бедой
И гневом глаз моих.
А днем уснешь —
Она и днем разбудит!

— Но я же рядовой...
А рядовых,
Сама ты знаешь, за войну не судят.

— Нет, судят, Хорст!

42

И в тот момент,
Не потревожив тюля,
Из прошлых лет,
Забывших лет
В окно
влетела
пуля:

— Твоя! —
Как миг,
Как черный штрих,
Как пепельная молния,—
Я без тебя,
Без глаз твоих
Нецелестремленная. —
Еще одна!
Еще!
Потом...
Построчно —
пуля к пуле —
Разнокалиберным дождем
На шкаф!
На стол!
На стулья!

— Твой!
Твой!
Не бойся нас.
Тобой мы
были
вылиты
И возвращаемся сейчас
К тебе —
К началу вылета.
— К тебе!
— К тебе!
— Из тьмы!
— Из тьмы!
То мелкие, то крупные.
— Ты человек!!
— А мы?!
— А мы?!
— А мы,
как пули,
глухие.

И мы не сами
По себе
Срывались, как магнитные.

Ты человек!
Они к тебе
Идут —
Тобой убитые.
— К тебе!
Из мглы пороховой.
— К тебе!
С земного ложа.
— Нет, врете вы!

Но крик его
Ушел назад, в него же.
Обжег его.
По телу дрожь
И пот,
И пот, как в бане.
Открыл глаза:
Обычный дождь
По стеклам барабанит.
Лицо?! — жены.
Рука?! — жены
На лихорадке пульса.

Хорст повернулся со спины
И тихо улыбнулся
Жене
За ласковость руки,
За этот локон милый,
За эту явь.
И лишь зрачки
Кричат о том, что было
Во сне
И гам — в огне, в дыму,
В крови —

И там осталось.
И не придет.

А наяву
Одно тревожит — старость.
А наяву, как по часам,
Что надо,
То исполнит.
Он не такой,
чтоб верить снам.
Он не такой,
чтоб помнить.
Он слишком занят.
Потому
Ему неважно спится.

Он то открыл, что никому
Другому
Не приснится:
Свивец!
Не где-то глубоко,
А под ногами — крупный!
Его высевать легко
И собрать, как клубни,
Легко.
Он всю его семью
Почти все лето кормит.

А дальше что?
Во что вольют
И как его оформят —
Неважно было.
Наплевать!
Не в том его забота.
Он не такой, чтоб рассуждать.
Работа есть работа.

За рейсом — рейс.
И график прост
И до предела точен.
И лишь одним сегодня Хорст
Серьезно озабочен.
Дожди... Дожди...
Идут дожди,
Как будто небо плачет.
Сезон дождей.
А впереди — зима.
А это значит:
Снега закроют полигон,
И все расчеты — к черту!
Для полевых работ
Сезон,
Как говорится, мертвый.
Сиди и жди
И лезь в долги
До посевной. Во-первых.
А во-вторых...

И вдруг — шаги!
По мостовой, по нервам.
Шаги!
Шаги!
Знакомо так,
Размеренно и грубо.
За шагом —
шаг,
За шагом —
шаг,
Как будто
камни рубят.

Заплакал сын.
О чем?
О ком?
И поблднела Лотта.
И Хорст вскочил.

Одним рывком —
К окну!
А там пехота...

За рядом ряд, как до войны,
Живые — не убитые,
Идут,
Затянуты в ремни,
По брови

в каски
влитые.

За строем — строй.
За строем — строй.
Не призраки, а роботы.
Как он когда-то молодой,
Без памяти,
без опыта.

За взводом — взвод.
За взводом — взвод.
Все в том же
прусском стиле.

Постой,
Который это год?
Шестидесятый!
Или...
Начальный тот,
тридцать восьмой,
Давным-давно забытый!
По мостовой!
По мостовой!
Как по лицу —
копыта.

В одно сукно,
В один пошив
Подогнанные люди...

А может быть, и Гитлер жив?
И то, что было, будет?
И годы те?
И раны те?
И кровь?
И крематории?

Шаги! Шаги!..
По памяти,
По мировой истории.

Безногий Курт на мостовой,
На стержне их
Движения,
Сидят,
Униженный войной,
Как вопль опровержения.

Шаги!
Шаги!..
По костылям.
Прикажут — по могилам!

*

Я тоже,
Хорст,
не верю снам,
Но помню все, что было.
И слышу я,
Как на плацу
Команда прозвучала...

Поэма близится к концу,
А их ведут

к началу —
На стрельбище.
Тебе ль не знать!
Ты это знаешь точно.
Ведут,
Чтоб ими убивать
Примерочно,
заочно.

А ты молчишь!
Ни в зуб ногой!
Как раньше,
на патронном.
Но я-то знаю:
Твой огонь —
Он не был посторонним.

Я каждый шаг твой проследил
И записал к тому же.
От тех мишеней
До могил,
Что указала муза.
И нам священен этот прах.
Мы принимаем близко
И эту явь,
Что рубит шаг,
И ту,
Что в обелисках.
И я встаю,
Тревогу бью
Всей многотрубной медью!

Я Курту руку подаю.
Я Гансу руку подаю.
Тебе же, Хорст, помедлю...

1956—1962

ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС

ПОЭМА ПРОМЕТЕЯ

Перевод с литовского Александра Межирова

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Прометей — горный пастух.
Яфет — его отец.
Зевс — крупный рабовладелец.
Гера — его жена.
Океан — старый рыбак.
Океаниды — его дочери.
Гефест — кузнец.
Ио — девушка.
Инах — ее отец.
Тьма } судьбы в масках.
Страх }
Жрецы
Земледелец
Пастух
Женщина
Скульптор
Рабы

Горный пейзаж. Скалы. Жидкий кустарник, камп, журчащий источник. В середине сцены — обломок скалы, похожий на трон.

ПРОЛОГ

Океан выводит на сцену двенадцать своих дочерей — Океанид.

Океан

Живей, живей! Вот-вот уже начало,
А вас я не могу никак собрать.
Что куры, разбрелись.
Несчастье, право,
С такой оравой дочерей. Сюда,
Здесь становитесь. Будете вы хором.
Ведь я вам обо всем уже сказал.
А ты, Алкмена, будешь корифеем,
Ты становишься немного впереди.
Так хорошо.
Когда черед наступит,
Ты говоришь одна
За целый хор.
Что ж, начинайте. Мы еще, быть может,
Успеем повторить хотя бы часть,

Хор

Строфа 1

О Прометей, несчастный и безвинный!
Какая кара ждет его теперь?

© «Дружба народов», № 5, 1977,

Такой пригожий, молодой и мудрый!
Всех утешал он в горе и в нужде,
Умел помочь и словом, и делами.
О Мойры, Мойры!
Почему же вы
Назначили ему судьбу такую?

Океан

Стоп!
Больше сердца, живости и чувства!
Вы помните, чему я вас учил,
Что говорил вам?
Так и продолжайте.

Хор

Антистрофа 1

Властитель нашей общины отныне —
Жестокий, алчный, вероломный Зевс.
Законного низвергнув властелина
(О, дедушка наш Крон,
Отец отца!),
Он заключил его в пещеру, в Тартар,
Трон захватил, присвоил все богатства,
Дома и скот...

Океан

Отменно хорошо!
Ему припомнить нужно все обиды,
Так ближе к делу, доченьки, теперь.

Хор

Строфа 2

Но этого ему, как видно, мало.
Зевс шлет, без сомненья, новых жертв.
И вот рабовладелец ненасытный
Тебе грозит,
Несчастный Прометей,
За то, что ты осмелился похитить
Вонстину божественный огонь,
Принадлежащий якобы тирану,
За то, что людям отдал дивный дар,
За то, что научил еду готовить,
Жилище согреть в холодный день
И вечерами — освещать лучиной,
Железо плавить, прогонять волков...

Океан

Покамест хватит.
Вон со всею святой
К нам спешает пресловутый Зевс.
Усердные помощники тирана,

В зловещих черных масках,
Тьма и Страх,
Ведут сюда страдальца Прометей.
Яфет, отец бедняги, вслед бредет.
За ним — Гефест, кузнец наш, и другие.

Хор

Антистрофа 2

О, горе нам!
О, горе Прометею!
Власть захватив,
Его осудит Зевс.
О Мойры, Мойры! Где же справедливость?
Ведь даже вы, хозяйки всех судеб,
Оспорить не решаетесь насилье,
Да, Тьма и Страх теперь владеют нами.

ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ

Входят Зевс с женой Герой.

Зевс

Ого, как много пташек! Тю-тю-тю!
Откуда вы? И как сюда попали?

Океан

Здесь все мои двенадцать дочерей.

Зевс

Отменные красотки! Поздравляю!
Я рад, что ты привел их всех, старик.
Скажи-ка, сколько лет, к примеру, этой?

Океан

Вот этой, Гее? В нынешнем году
Шестнадцать лет исполнилось.

Зевс

Ну что же...
Послушай, Гера милая, у нас
Невпроворот сейчас работы дома,
Рук не хватает переделать все.
Пусть на подмогу к нам приходит Гей.
И приготовить,
И прибрать в дому
Наверняка помочь она сумеет.
Девушка работающая, кажись.

Гера

Нет-нет! Мне никаких девиц не надо!
Ты разве неухожен?
Разве ел
Хотя бы раз с малейшим опозданием?

Зевс

Но, дорогая, дома столько шерсти
Не спрядено еще!

Гера

Все в свой черед.

Зевс

А молнии мой?
Кто их почистит?
Сегодня, например:
Иду я в суд,
А молнии — нечищены.
Мне с ними
Показываться стыдно пред людьми.
Следить за молниями может Гей.

Гера

Довольно, а не то я их возьму
И выброшу куда-нибудь на свалку.
Твои игрушки — ты же и следи.

Зевс

Ну ладно, милая, не будем спорить.
Приступим к делу наконец.

Пора.

(Проходя мимо Гей.)

Тю-тю, пичужка! Тю-тю-тю, красотка!
Я жду тебя сегодня на лугу...

Хор

Бесстыдный и бессовестный развратник!
Во что, о небо, превратились мы,
Кем стали ныне, если нами правит
Такой правитель?
Если судит нас
Такой судья?
А ты, отец несчастный,
Молчишь и защитить не хочешь дочь?
Ты тоже угодить боишься в Тартар?
Что с вами будет? Что нас, бедных, ждет?

ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ

Зевс

Ведите обвиняемого!

Тьма и Страх приводят Прометея.

Зевс

Просим
Свидетелей, которые хотят
Дать показанья,
К нам сюда явиться.
Мы собрались здесь ныне для того,
Чтоб вместе разобраться в этом деле,
Чтоб истину найти
И покарать
Виновного в погрании священной,
Божественной неоспоримой воли.
Пусть это дело служит всем примером
Правдивого и честного суда.
И небеса, и люди пусть увидят,
Что я всегда стою за справедливость.

Входят Пастух, Земледелец, Женщина,
Гефест, Яфет, Инах, Жрецы и другие.

Зевс

Однако же где скульптор?
Позовите!
Я разрешаю лицезреть меня
И в дереве воспроизвесть мой образ.

Вбегает Скульптор, согнувшись под тяжестью
древесного ствола. Долго ищет на сцене удобное
место.

Хор

Уже недалеко, увы, то время,
Когда придется идола восславить
И на коленях жертвы приносить,
Богов своих мы создаем сами.

Зевс

Пред вами — Прометей.
Его вина
Бесспорна, несомненна, очевидна.
Но повторю еще раз:
Он посмел
Украсть огонь, который был мне послан
Благими небесами в знак того,
Что я принадлежу к числу бессмертных...

Жрецы

О бог! Всевышний, всемогущий боже!..

Х о р

Ответь им, Прометей!
Твой ум и мудрость
Еще, быть может, выручат тебя!

П р о м е т е й

Что говорить! Все было так давно,
И вспоминать не стоило бы вовсе.
Я пас овец близ места, где в долину
Река Асопа ниспадает с круч...

З е в с

Прошу отметить: чья это земля?

Ж р е ц ы

Всевышнего и всеблагого Зевса!

П р о м е т е й

Вдруг налетела буйная гроза,
Обрушились на землю стрелы молний.
На берегу реки росла олива —
В ее полузасохший ствол попали
Две смертоносных огненных стрелы.
На землю тотчас я упал в испуге.
Когда ж решился голово поднять,
Все дерево увидел я в огне.
Костром гигантским, разгоня сумрак,
Оно пылало долгие часы.
И ночь, казалось, превратилась в день.
Лишь на рассвете потускнело пламя.
Я к дереву подполз.
Сломив тростник,
Стал ворошить золу, найти пытаюсь
Те стрелы, что попали в ствол оливы.
Но ничего, увы, не обнаружив,
Я возвратился к стаду своему.
Всходило солнце.
На колени пав,
Прижал к губам тростинку я и дунул,
Как бы в козлиный рог.
Из тростинка
Метнулось пламя, испугав меня.
Но пламя было маленьким и слабым.
Швырнув тростинку на сухие травы,
Нечаянно я этим их зажег.
Огню, я понял, требуется пища.
Я хворост предложил ему —
Сгодилось.
Давал ему лишайник, ветки, мох —
Все пожирал он и ничем не брезгал.
Осмелившись, коснулся я его —
В ответ он укусил меня сердито.
Попробовал залить его водой —
Шипеть и гаснуть сразу стало пламя.
Когда, увидев дым, ко мне сбежались
С окрестных круч другие пастухи,
Уже приручен мною был огонь.

З е в с

А что с огнем ты этим делал дальше?

П р о м е т е й

Я в тот же день принес его тебе,
Но ты меня, перепугавшись, выгнал,
Хоть я тебе показывал не раз,
Как надо обходиться с этим даром.
Тогда-то я отнес его другим.
Лишь убедившись, что огонь полезен,
Жилище согревает,
Варит мясо,
Оберегает стадо от волков,
Ты приказал отдать его тебе,
Ты получил его.

З е в с

Увы, последним!
Ниспосланный мне небом вещей знак,

Свидетельство божественного сана,
Ты смел присвоить
И раздать повсюду,
Простым,
Обыкновенным,
Смертным
Людам...

Х о р

О, мудрый, о, бесстрашный Прометей!
Ты дал нам всем цветок животворящий,
Тепло и радость, свет и благодать!
Ты уподобил нас богам блаженным!

З е в с

Что эти девки каркают вокруг?
Гоните их, чтоб не мешали делу!

О к е а н

Их гнать нельзя.
Ведь это хор.
Ты знаешь:
В трагедии всегда положен хор.

З е в с

Тут суд, а не трагедия, старик.

О к е а н

Подобный суд — трагедия!

З е в с

Молчать!
К отцу ты захотел, как видно,
В Тартар?
Свидетелей позвать! Пусть говорят...

ЭПИСОДИИ ТРЕТИЙ

Ж р е ц ы вокруг **З е м л е д е л ь ц а**.

Т ь м а

Что можешь ты поведать, Земледелец,
Суду о Прометеевом огне?

З е м л е д е л е ц

Будь проклят Прометей с его огнем!
Он сжег мое злосчастное жилище,
И мне пришлось опять ютиться в скалах.
Не нужен мне проклятый этот дар!

Т ь м а

Так, правильно, благодарю.

А т ы

Что скажешь нам, Пастух, о Прометее?

Ж р е ц ы выталкивают **П а с т у х а**.

П а с т у х

Скажу, что Прометей — гордец безумный.
Одно и то же всюду он твердит:
Огонь, мол,
Принесет ему бессмертье!..

Ж р е ц ы

Какое богохульство!
Он посмел
Равнять себя с бессмертными богами!

О к е а н

Что это, Зевс, мычат твои быки?

З е в с

Да это же мой хор. Ты сам сказал,
Что для трагедий хор — всегда положен.

Ж р е ц ы, поддерживая, выводят **Ж е н щ и н у**.

Страх

Поведай, уважаемая, нам,
Что дал тебе огонь? Какое благо?

Женщина

(плача)

Как щепку,
Он сожрал мое дитя!
Как веточку,
Как малую травинку...

(Бросается на Прометея.)

Ты, негодяй, один виновен в этом!
Будь проклят со своим огнем навеки!

Страх

Пусть успокоится!
Введите кузнеца.

Входит Гефест.

Прометей

Гефест, ты должен защитить огонь!
Ему обязан ты своим искусством.
Тебя он научил ковать железо...

Гефест

Огонь и ты.
Да-да, высокий суд,
Огонь, конечно, неплохая штука,
Но им владеть пристало одному.

Прометей

Гефест, опомнись!

Гефест

Только одному!
Иначе не бывает нигде порядку.

Зевс

Так, правильно! Дарован был огонь
Лишь одному, но этот самозванец
Его украл и роздал всем подряд.
Что получилось — видели вы сами:

Одни несчастья,
Беды,
Слезы,
Муки...

Община, та, которой надлежит
Мне властвовать,
Распалась, раскололась.
Приказываю завтра принести
Всем свой огонь и возложить его
На горы Гефеста.

Если я увижу
Хоть где-нибудь какой-нибудь дымок,
Для вашего же собственного блага
Виновных буду, не щадя, карать.
Не пожалю ни детей, ни женщин!
Отныне всем в обязанность вменяю
Следить и днем, и ночью друг за другом.
Заметив у соседа огонек,
Мне сообщайте сразу же. Я щедро
Вознагражу за бдительность и верность.

Яфет

(Бросается к Прометею.)

О, сын мой, сын мой! Что же ты наделал!
Как жить мы будем в страхе и вражде,
Подозревая, донося, не веря?

Зевс

Гефест отныне смотрит за огнем.
Кому я разрешу, тому и даст он —

В зависимости от его нужды.
Гефесту каждый за его заботы
Овцу пригонит, принесет вина,
Мешок овса, а также миску меда.

Прометей

Гефест, мой брат, тебя купил тоже?
С тобою первым поделился я
Воистину благословенным даром,
Открыл тебе могущество его.
Ты ж предал нас обоих...

Гефест

Надо жить.
Родители ведь стары...
Я — женился...

Прометей

На Океана старого взгляни!
Двенадцать дочерей у старика,
Но он ведет себя вполне достойно.

Океан

Двенадцать сыновей имел бы я —
Не восседал бы тут сегодня этот...
(Показывает на Зевса.)

Хор

О времена! За горсточку овса
И за кувшин с вином продать готовы
И друга,
И огонь,
И честь,
И стыд!
Смотрите все, смотрите на Гефеста!
Смотрите и запомняйте все.
Пускай земля, разверзшись, нас проглотит,
Коль счастье даст предателю измена!

ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ

Зевс подходит к Прометею и ведет его в сторону.

Зевс

Теперь ты видишь, сколько страшных бед
Принес огонь всем этим жалким тварям?
Ты слышал сам, что говорили здесь
Пастух, и Женщина, и Земледелец.

Прометей

Они ведь не успели научиться
Как подобает управлять огнем.

Зевс

Ах, не успели? Лучше бы сказал,
Что управлять огнем — не их призванье,
Не их удел, что все они пока
Божественного дара недостойны.
Ты убедился сам:
Они — рабы!
А ты хотел их превратить в бессмертных
И приравнять к богам.
Ах, милый мой,
Все это так наивно,
Так убого!
Скорее с юга будет дуть Борей,
Скорее реки повлекутся в гору,
Чем люди уподобятся богам.
Лишь избранным,
Таким, как я...
И ты...
Принадлежит по праву дар чудесный.
Прометей молчат.

Ты видел,
Не хотят они огня,
Не могут усмирить его,
Заставить
Послушным быть, покорным и ручным,
Ну что ж, пускай,
Все к лучшему, должно быть.
Мы меж собой поделим этот дар.
Как и положено, я буду старшим.
Ты — мой помощник. Ты увидишь сам,
Что принесет нам это обладанье.
Ты убедился, сколько здесь сокрыто
Могущественных, чудотворных сил.

Прометей

Да, это верно. В пламени таятся
Волшебные, неведомые силы,
С добром и благом сочетая зло.
Что выбираешь ты?

Зевс

Добро, конечно.

Прометей

Добро, когда владеет им один,
Уже не есть добра,

Зевс

Не понимаю.

Прометей

Огонь, принадлежащий одному,
Опасным может сделаться внезапно.
Покорно выполняя злую волю,
Он столько бедствий людям принесет!

Зевс

И значит?..

Прометей

Значит, должен быть огонь
Всеобщим, равноправным достоянием.

Зевс

Ты все сказал?

Прометей

Да, все.

Зевс

Глупец! Глупец!

(Мечет в него свои молнии.)

Скульптор

Светлейший Зевс! Нельзя ли эту цепу
Еще раз повторить?
Какой удар!
Как характерно каждое движенье!
Божественная воля,
Сила,
Мощь!
В порыве гнева виден властелин!

Зевс

(рассерженный, бьет его молниями)
Изволь, глупец! Я повторю удар!
Я повторю их столько раз подряд,
Чтоб ты сумел запомнить их навек!
Ну, а теперь пошел отсюда прочь!

Скульптор

(выбегая)

Я лишь хотел движенье уловить...
Всю полноту божественного гнева...
(Уходит.)

Жрецы

Разгневан всемогущий повелитель.
Как мечет молнии!
Споем, быть может,
Его любимый — Зевса — дифирамб?

(Поют.)

О, светлейший,
Всемогущий
Повелитель,
Властелин!
Справедливейший,
Мудрейший,
Миром правишь
Ты один!

Корфей

Теперь тебя, безвинный Прометей,
Осудят непременно. Ты остался
Здесь в полном одиночестве.
Гефест,
Твой самый близкий, самый лучший друг,
Он тоже предал, продал, отступился.
И даже умереть
Тебе никто
Тут не поможет.
Все оценели
Под бременем невежества и страха.

Прометей

И все же мне поможет вера в вас
И в вашу неминуемую верность
Самим себе и вещему огню.

ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ

Зевс

Как трудно управлять мне вами,
Люди!
Как тяжело блюсти мне справедливость,
Коль нужно пощадить или покарать!
Предпринял я последнюю попытку
Безумца Прометея образумить,
Все заблужденья разъяснить ему.
Увы, увы! Сама богиня Ата
Его рассудок помутила, видно.
Всеобщим благом дорожа,
Гнойник
Необходимо удалить из тела,
Чтобы спасти здоровый организм.

Прометей

Ты приказал отдать тебе огонь,
Но как исполнить это приказанье?
Как я смогу отдать тебе все то,
Что в глубине сердечной пламенеет?

Зевс

Что сделаешь, придется вырвать сердце!

Прометей

Но это будет не огонь, а пепел.

Зевс

Что ж, пепел — неплохое удобренье,
Дабы удобрить почву послушанья.

Прометей

Наспья,
Произвола,
Страха,
Тьмы,

Зевс

Продолжим дело. Хватит пустословить.

Жрецы

Светлейший Зевс! В согласии с приказом,
За Прометеем наблюдали мы.
Он человек воистину опасный!
Не почитает никакой обычай,
Не чтит старейшина, портит молодежь,
Петь в честь твою не хочет дифирамбы.
В ущелье горном, около пещер,
Святылище огня воздвиг он тайно
И в жертву приносил не раз ягнят,
По праву нам, жрецам, принадлежащих.
А Диониси? Во что, увы,
Он превратил прекрасный этот праздник?
В разнузданные оргии. Нагие,
С пылающими факелами все
Ночь напролет, и юноши, и девы,
Беснуются среди виноградных лоз.
Он снова возродил ужасный танец,
Сатиров сикиниду. К лире он
Козлиные рога приделал, чтобы
Она звучала звонче наших лир.

Зевс

И вы рога приделайте, глупцы!

Жрецы

Нам искренность нужна,
Отнюдь не громкость.
Ужаснее всего, что Прометей,
Божественность твою не признавая,
Тебя клянет, порочит и хулит,
А заодно с тобой и нас поносит,
Он неустанно учит молодежь
Чтить Геспера, Селену и Гекату.
Наделав множество изображений
Своих кумиров, он поставил их
Вблизи больших дорог и малых тропок...
Мы думаем, что надо поспешить
С твоим изображением, о Зевс!

Зевс

Да, правильно, ваятеля верните!

Скульптора опять возвращают к работе.

Зевс

Я запрещаю
Всех других богов
Превыше Зевса почитать и славить!
Сначала —
Зевс,
И только лишь потом —
Все остальные боги и богини.
Об этом позаботятся жрецы.

Жрецы

Светлейший Зевс! Когда б тебе отныне
Принадлежал божественный огонь,
То ты уже теперь — клянемся в этом! —
Главою стал бы среди всех богов.

Зевс

Огонь принадлежать отныне будет
Мне одному по праву старшинства.
И долго ль ожидать придется часа,
Когда обожестьвись я смогу,
Как подобает сану, в полной мере?

Жрецы

Зависит это только от того,
Как поступить решишь ты с Прометеем.
Его вина доказана вполне.
Он недруг твой, вне всякого сомненья,

Зевс

Как вы бы предложили поступить?

Жрецы

В священной роще говору деревьев
Внимали мы, гадали поутру
На петушиных внутренностях,
Фатуи
Одно и то же предрекает:
Смерть...
Судьбе угодна гибель Прометея.

Хор

О Адрастея, ты караешь всех,
Перерезаешь вечно нити жизни.
Стараешься гасить огонь в сердцах
Безжалостными, черными руками.
Но пощади хотя бы в этот раз!
Не дай остаться нам во тьме кромешной
Без света, указующего путь!
Будь милосердна к нам и к Прометею!

Зевс

Я не могу казнить его теперь,
Пока он тайн своих еще не выдал,
Пока он не поведал нам всего,
Что знает о могуществе огня.

Корифей

О Зевс! Бессилен ты пред Прометеем.
Он вопреки всему сильнее тебя.
Крылатое божественное пламя,
Которое горит в его душе,—
Победы неминуемой порука,
Защита ото всех возможных зол.

Жрецы

Мы, властелин, хотим предостеречь:
Стал ныне Прометей тебе опасен.
Не так давно сбежал один твой раб.
И Прометей приют на две недели
Дал беглецу в святилище своем.
Но Прометей его не только спрятал —
Он разжигал в нем ненависть к тебе.
И вот раба поймать сумела стража,
Когда твой дом
Пытался тот поджечь.
Вначале раб молчал,
Потом
Под пыткой
Ему пришлось признаться наконец,
Что исполнял он волю Прометея.

Зевс

А ну-ка, привести сюда раба!

ЭПИСОДИЙ ШЕСТОЙ

Стража подводит полуживого Раба и ставит его на колени перед Зевсом.

Зевс

Ты слышал все?
Что скажешь нам, собака?

Раб

(долго смотрит на Прометея)
Все это ложь, одна сплошная ложь!
Я не бежал, я вовсе не пытался
Поджечь твой дом.
Они меня пытали;
Вконец измучив, начали сулить
Освобожденье, если повторю я

Здесь, на суде, их липкие слова.
Но лгать не буду. Никогда доселе
Мне не встречался
Этот человек.

(Показывает на Прометей.)

Ну, а теперь я наконец свободен!
Впервые я свободен наконец!

(Падает.)

Зевс

Прикончите камнями негодяя!

(Разгневанный, мечет свои молнии над головами жрецов.)

У, жирные бездельники! Глупцы!
Свидетеля найти никак не могут!
Зато к столу, как свиньи, мчат всюю.

Прометей

Ну, люди, люди!

Насмотрелись вдоволь?

Наслушались? Уразумели все?

Ложь,

Произвол,

Насилие,

Коварство,

Четыре вечно ненасытных твари,

Средь нас неутомимо ищут жертв,

Когтями окровавленными тцатся

Дух угасить

И разорвать сердца.

В вас пламенеет огонек чудесный,

И боги испытать решили нас:

Достойны мы иль недостойны дара,

Который отличает человека

От всех живущих на земле существ.

И если мы действительно подобны

Животным,

То скорее отдадим

Божественный, священный свой огонь

Коварному и алчному тирану.

С ним заодно мы отдадим свою

Свободу,

Совесть,

Честь,

Мечту

И душу,

Свой разум,

Первородство

И судьбу...

Но если этот дивный дар по праву

Нам, людям, навсегда принадлежит,

Самих себя должны быть мы достойны

И сохранить достоинство свое!

Огонь,

Который светит нам во мраке

Всобщего невежества и рабства,

Который защищает нас от лжи,

Насилия, коварства, произвола,

Нуждается в защите нашей сам.

Так неужели предадим его мы?

Он защищает нас,

А мы — его!

Укройте же огонь в лесах, в ущельях,

В глубинах сердца спрячьте навсегда.

По-братски должно им делиться с братом,

Но уберечь от всяческих врагов,

Чтоб сохранить для новых поколений

Хотя бы искру вещего огня.

Как умер этот Раб?!

Свободный,

Гордый...

Среди всеобщей беспросветной тьмы

Как будто загорелся мощный факел...

Увы, он загорелся — и погас.

Но эта жертва не была напрасной.

Он умер, чтоб не гаснул никогда
Светильник человечности и правды.

Как звать его?

Нам неизвестно имя

Простого, безымянного раба,

Но был он настоящим человеком.

И пусть навеки именем таким

Он наречется в памяти потомства.

Так будем называть его и помнить.

Жрецы

Какое суесловие!

Раба —

Ничтожную собаку,

Человеком

Посмел назвать безумный Прометей!

Зевс

Да это бунт, мятеж, открытый вызов!

Земледелец

Не беспокойся, Зевс.

Напрасно он

Нас подстрекал, вселяя недовольство,

Мятежный дух,

Пытаясь нами править,

Стараясь приучить нас к непокорству.

Бессмысленно и глупо умирать,

Как умер этот раб,

Никто не хочет.

Я говорил уже,

Что от огня —

Одни несчастья, беды, беспокойства.

Ни проку в нем, ни пользы никакой.

А у меня к тому же нет досуга

Как следует присматривать за ним.

Зевс, разумеется, — другое дело.

Ему охотно я отдам огонь.

(Становится рядом с Гефестом.)

Женщина

И я огонь отдам охотно Зевсу!

Нам, женщинам, одна морока с ним,

Беречь его иль от него беречься,

Страшась несчастий

И ежеминутно

Рискуя домом, утварью, детьми, —

Зачем он нужен, этот дар проклятый?

(Становится рядом с Гефестом.)

Пастух

Нам, пастухам,

Огонь приносит пользу.

Согреться можно,

Высушить одежду,

Заметили мы также, что огня

Боятся волки,

Но не стоит все же

Огонь,

Чтоб умирали от него.

(Становится рядом с Гефестом.)

Зевс

Ну, Прометей, теперь ты убедился

В моей неколебимой правоте?

Ты всех пытался сделать бунтарям,

Ты был наивен, безрассуден, слеп,

Но от тебя и от твоих посулов

Все добровольно ныне отреклось.

Подчеркиваю:

Добровольно!

Сами!..

Ты, Прометей, один теперь, один!

Я прав — и потому со мною люди.

Ты заблуждаешься — и одиноко...

Хор

Невежество, неблагодарность, глупость!
О, что вы, боги,
Сделали с людьми?
Они ослепли, потеряли разум,
В пещеры возвращаются, как звери,
Отрекшись ото всех былых надежд,
Безжалостно топчя цветков небесный,
Едва расцветший ныне в их сердцах.
Пред нами ужас безысходной ночи
И нету даже искорки во мгле!

Зевс

Я рад отметить, как с любовью к трону
Вы, люди,
Приближаетесь сейчас.
Ответом на любовь
Пусть будет милость,
Дарованная мною от души.
Ты, Земледелец, получаешь землю —
Две стадии в длину и в ширину.
Тебе, Пастух, дарю я пять овец.
Ты, Женщина, получишь шесть локтей
Материи...

Гера

Не много ли, однако?

Зевс

Так нужно, Гера.
Все вернем сполна.

Земледелец, Пастух, Женщина, Гефест,
опустившись на колени, поют:

О, светлейший,
Всемогущий
Повелитель,
Властелин!
Справедливейший,
Мудрейший,
Миром правящий
Ты один!

Прометей

Ну что же, расточайте славословья
Невежеству и рабству своему!
Поете вы, того не понимая,
Что славите
Свой собственный позор!
О, как легко готово ваше тело
Отречься от божественной души!
Земля,
Одежда,
Скот...
Одно и то же
Для всех людей
В любые времена.
Предательство доходнее, чем верность.
О, как я мог об этом позабыть?
Не в сердце он у вас,
Огонь священный,
А где-то там,
В желудке,
В животе.
Обогащайтесь, поклоняйтесь скопом
Единому кумиру — животу!
Счастливого пути вам всем!
Ищите,
Хватайте все, что видите вокруг!
Коль невзначай упавшую на землю
Когда-нибудь найдете вы звезду —
Скорее проглотите
Дар небесный
Иль лучше в презыбтке рабских чувств

Почтительно
Какому-нибудь Зевсу
На голову спешите возложить.
Он за звезду дарует вам барана
Иль тряпку, чтоб смогли прикрыть вы срам.
Я думал:
Это — люди!..
Вы же — черви,
Ничтожества,
Слепые слизняки!
Тьмы,
Тьмы побольше!
Вам огонь не нужен.
Насытить чрево можно и во тьме.
Две стадии земли,
Пяток овец,
Да шесть локтей материи... Ха-ха!
Ужели ночью звездные пространства
Не манят ваши души и глаза,
Не говорят о беспредельных тайнах,
Которые хотелось бы раскрыть?
А солнечный восход,
Огнем небесным
Окрасивший вершины дальних гор?
А вольное парение орлицы
Над нами где-то
В голубой пустыне?
А смех ребенка?
Тихий рост травы?
Ужели вам все это безразлично?
Так много в мире,
В жизни,
В нас самих
Влекущих и заманчивых загадок!
Напрячь бы разум, чувства,
Наблюдать
Весь этот мир земной
И мир небесный,
Богов,
Самих себя,
Других людей.
Хотя бы постепенно постигая
Взаимосвязи,
Цель
И смысл всего,
Что окружает нас,
Что в нас таится.
Все чудеса доступны будут всем
И сделаются общим достоянием —
Не собственностью
Одного скушца.
Огонь и есть как раз такое чудо,
Порука и залог других чудес,
Всего, о чем я говорил вам ныне.
Я проклял вас
И все-таки молю,
Пытаясь верить в ваше возрождение:
Не отдавайте своего огня!
С ним вместе отдаете вы свободу
И цепи получаете взамен!

ЭПИСОДИИ СЕДЬМОЙ

Зевс

Ты, Прометей, витийствовал отменно
И подсказал мне
Неплохую мысль.
Гефест, возьми свой молот,
Эти цепи,
Ненужные убитому рабу,
Они теперь послужат Прометею.
Ты видишь ту скалу?
К ней приковать
Ты должен непокорного безумца.

Не будем проливать напрасно кровь.
Не лучше ли создать ему возможность
Все заблужденья осознать сполна?
Пусть отречется от огня публично.
Искупит до конца свою вину
Чистосердечным, честным покаянием —
Верну свободу Прометею я.

Жрецы

О Зевс! Как мудро рассудил ты дело!
Явил и милосердие,
И кару!
Вот справедливый образец для всех!

Яфет

(падает на колени перед Зевсом)

Прости и пощади его!
Помплуй!
Единственный мой сын...
Кормилец мой...
Я стар уже.
Кто мне поможет ныне?

Прометей

Отец, не унижайся!
Поднимись!
Твои седины, слезы и страданья
Живым укором будут этим людям,
Их слепоте,
Корысти,
Малодушью.
Не ты ли повторял всегда, отец:
Чтобы тебе поверили другие,
Ты должен доказать, что веришь сам...

Зевс

Ну что же ты, Гефест?
Берись за молот!

Прометей

Ты слышал, что сказал твой господин?
Берись за молот, брат,
Берись за молот!
Получше закали стальную цепь,
Подсыпь золу —
Железо будет крепче.

Зевс

Гефест, не медли!
Делай, что велют!

Прометей

Твой господин дает тебе приказ.
Так принимайся, брат мой, за работу,
Какой еще не делал никогда.
Паденье человека,
Малодушье
И мужество,
Достоинство его —
Все это ныне станет очевидным
Благодаря тебе, мой бедный брат.
Не Зевс —
Сама судьба дает возможность
Всем убедиться,
Что есть человек.
И гимн создать
Во славу человека.

Гефест приковывает.

Хор

Все видели вы, бедные глаза?
Как сможем мы смотреть в глаза иные,
Не устыдясь,
Не потупляя взор?
Как сможем мы теперь смотреть на солнце

Иль на волшебный звездный небосвод,
Не вспоминая с болью Прометей,
Его проникновенные слова,
Что прозвучали здесь, увь, напрасно?
Зачем же мы внимали тем словам?
О, почему мы не заткнули уши?
Как сможем слышать человеческую речь,
Корыстную и лживую,
Отныне?

О, наши губы бедные!

Как вы

Могли молчать?

И что теперь нам делать?

Ужели так же улыбаться людям?

Ответствовать кому-то, вопрошать,

Обманывая всех

И безуспешно

Самих себя обманывать пытаться?

О, наши руки!

Для чего вы нам,

Коль защитит его

Вы не посмели?

Как сможем мы приветствовать других

Рукопожатием чистосердечным?

О, наши безутешные сердца!

Вы предали его...

Гефест швыряет молот на землю и, бросившись к
Прометею, обнимает его.

Гефест

Нет, не могу я!

Ты погубил меня, меня ты сжег.

О Прометей! Все, все во мне погасло!

Теперь не человек я — горсть золы.

Мне больше ничего уже не надо.

Прометей

Такое испытание —

Огнем —

Не для тебя.

Ты оказался слабым.

Гефест убегает.

Зевс

Действительно, Гефест, ты слишком слаб.

Тебя я отстраняю. Земледелец!

Берись за молот!

Продолжай ковать.

Земледелец приковывает.

Прометей

Ты поле получил. Когда его

Пахать начнешь,

Ты посмотри на горы,

На эти скалы, на мою скалу.

Хлеб, выращенный на злосчастном поле,

Казаться будет каменным тебе

И колом останавливаться в горле,

А страх лишиться хлеба,

Как скала,

Тебя давить отныне будет вечно.

Впрок не идут подобные дары...

Зевс

Достаточно. Теперь берись за молот

И ты, Пастух, учись и ты ковать!

Пастух приковывает.

Прометей

Ты не забыл, как мы с тобой ночами

Сидели у горящего костра?

Крутом теснилась тьма,

А мы смотрели

На мириады безымянных звезд,

Придумывая имена для многих:
Плеяды, Эос, Орион...
О, сколько
Чудесных мы придумали имен!
В самих названьях —
Словно вспышки света!..
Да прояснится помраченный разум,
Да станет он таким, как был тогда,
Под стать небесным сказочным светилам!

П а с т у х бросает молот и бьет П р о м е т е я по лицу.

П а с т у х

Вот,
Получай за то,
Что у костра
Ты так красиво врал о человеке,
Обманывал бесстыдно, говорил,
Что он прекрасен,
Мудр,
Велик,
Свободен...
Ха-ха!
Да он ничтожный, низкий раб!
Зачем же пробуждать
Тоску,
Надежду
И к звездам обращать его зачем?
Чтоб было на земле ему труднее?

З е в с

Все правильно сказал он.
Двух овец
Прибавьте Пастуху.

П а с т у х

На что мне овцы?
Я в горы ухожу.
Там меньше зла,
Чем тут,
Среди людей,
В долине вашей.

З е в с

Что ж, уходи. Свое ты сделал дело.
Твой,
Женщина,
Чередь
Иди, проверь —
Крепки ли цепи?
Сделали на совесть
Свою работу наши кузнецы?

Ж е н щ и н а осматривает прикованного П р о м е т е я.

Ж е н щ и н а

Да, повелитель, сделано на совесть!
Такую цепь титану не порвать!

П р о м е т е й

Ты, бедная, не ведаешь, какими
Цепями ты окована сама.
Рабьней ты была
И будешь вечно.
Любя, ты будешь жертвовать собою,
Как вынужден я делать это ныне.

З е в с

(торжественно)
Свершился суд, в котором вы —
Не я —
Согласно осудили Прометея.
Кузнец,
И Земледелец,
И Пастух,
И Женщина — его вы обвинили
И свой осуществили приговор.

Всеобщее благополучье ваше —
Всего дорожке для меня,
И я
Во всем согласен
С вашим общим мнением.
И радуюсь сознательности вашей.
Божественную милость обретя,
По курице я каждому дарю.

ЭПИСОДИЙ ВОСЬМОЙ

Вбегают девушка И о; щелкая бичами, ее гонят два
р а б а.

И о

О, дайте наконец остановиться!
Перевести дыхание...
Нет у сил...
Богини рек,
Источников,
Озер,
Неяды милые!
Хотя б глоточек,
Хотя бы только капельку воды!
О к е а н, подскочив, поит ее.

О к е а н

Что, деточка моя,
С тобой случилось?
Что за беда преследует тебя?

И о

Молю о милосердые, о пощаде!

Х о р

Ни милосердыя, ни пощады здесь
Нет,
Не было
И никогда
Не будет.
Здесь только ложь,
Насилие,
Коварство,
Здесь человек,
Его душа и тело —
Беспомощный и бессловесный червь
Под тяжкою пятою произвола.

Ж р е ц ы

Здесь справедливый и премудрый Зевс!
Поведай Зевсу о своем несчастье,
Наверняка поможет он тебе.

И о

Поможет он!
Поможет!
Ха-ха-ха!
Как волк — овце,
Как ястреб — малой птахе.
Его жена, безжалостная Гера,
Сегодня утром назвала меня
Коровою,
Бесстыдной девкой,
Шлюхой
И приказала двум своим рабам
Плетями гнать меня
До края света.
Куда бежать мне из родной долины?
Вот и мечусь я, бедная, весь день.

Г е р а

Я повторяю: прочь ее гоните!
В горах ей место, среди других коров!

Р а б ы

Владычица!
Помилуй, мы не можем
Вот так,
Без передышки...
Нету сил...

И о

Остановлюсь перевести дыханье —
С удвоенною яростью рабы
Хлестать меня! бросаются.
Что делать?
Я прокляла себя и целый свет!

Х о р

За что тебя так покарала Гера?
Что сделала плохого ты, Ио?

З е в с

Сегодня мы судили Прометея,
А это дело — завтра разберем,
Нет времени сейчас.
Уйти мне нужно.

Г е р а

Ага, не хочешь?
Жалко эту девку?
Я все вам расскажу про эту тварь!
Корова эта,
Наглая корова,
Хотела мужа моего завлечь!

И о

Завлечь?
Его?
Уродливого хряка?
Развратника?

Ж р е ц ы

Она злословит, Зевс!
Всесильный, покарай ее немедленно!

И о

Ну, если так, я расскажу вам все!

З е в с

Достаточно историй! Хватит, хватит!

Г е р а

(тоже кричит)

Пусть говорит!
Я требую!
Да-да!

А то еще подумают, что Гера
Несправедливо наказала тварь.

З е в с

(апатично)

Как хочешь, дорогая.
Не волнуйся.

И о

Три дня назад я свой хитон стирала.
Вблизи ручья растут кусты. Из них
Свет-лей-ший этот Зевс
Внезапно вылез.

З е в с

(пытается возразить)

Ты лжешь! Три дня назад я был в отъезде.

И о

Ну, да, в отъезде.
У ручья,
В кустах.

Г е р а

Зевс, не мешай ей! Все пускай расскажет!

И о

Он подошел ко мне, любезно скалясь,
Попробовал обнять и говорит:
«Да ты, красотка, засиделась в девках!
Приди сегодня вечером на луг,
Тот самый, где пасутся ваши овцы...»
Я сразу отодвинулась,
А тут,
И впрямь перепугавшись, убежала.
Но этим все не кончилось, увы.
Назавтра он прислал платок в подарок.
Его разорвала я на клочки...

Г е р а

Так вот куда девался мой платочек!
А я велела выпороть рабынь...

И о

Увидев, что ко мне не подступиться,
Преследовать отца задумал Зевс.
Увещеванья,
Подкупы,
Посулы —
Все способы решил пустить он в ход.
Но, убедившись, что старанья тщетны,
Рассвирепел и начал угрожать.
Не выдержав, отец сказал однажды:
«Быть может, сходишь ты на этот луг...»

З е в с

(кричит)

Не верьте, люди, этой лживой твари!

И о

Отца спросите, лгу я или нет!

О к е а н

Скажи, Инах, ужели это правда?

И н а х

Да, это правда.
Зевс привел сперва
Двух козочек
И стал судить мне много
Других даров и милостей своих.
Пусть только дочь
Строптивость позабудет
И всячески покорствуем ему...

Г е р а

(Зевсу)

А ты сказал, что волки их задрали,
Двух этих коз.
Меня ты обманул!

З е в с

Да то совсем другие были козы.
Не эти, а другие. Я не лгал.

Г е р а

Не эти, а другие? Все они
На том лугу проклятом пропадали?
Да есть у нас хотя б одна коза?
Ах, не могу! Мне плохо! Умираю!
(Падает в обморок.)

З е в с

Домой ее тащите.
Я ж сказал:
Достаточно историй!
Баста, баста!
У, бабы!..

Кто пригнал ее сюда,
Шальную эту девуку?

Р а б ы

Мы, светлейший!

З е в с

Ах, да... Я позабыл.
Вам дан приказ:
Плетями гнать ее до края света!
Так выполняйте же!
Гоните прочь,
От глаз моих божественных подальше!
Чтоб я ее не видел больше здесь!
Любимая, дражайшая супруга
С ней поступила правильно: она
Своим проклятым юным грешным телом
Меня пыталась всячески завлечь!
Бесстыжая распутница!
Пронюхав,
Что где-то по соседству бродит Зевс,
Она разоблачилась и одежду
С невинным видом принялась стирать!
(Раба м.)

Чего ж вы ждете?
Прочь ее гоните,
Как сказано:
На самый край земли!

Щелкая плетью, р а б ы гонят И о по сцене.

Ж р е ц ы

Так ей и надо, этой вздорной девке!
Объятий,
Ласк
Божественных
Она
По глупости своей
Не захотела —
Пускай ее теперь
Ласкает плетью!
Глубокий смысл таится в этой каре.

З е в с

Пора домой,
Поесть и отдохнуть.
Ну и денек!
А дома предстоит
Нелегкий разговор с дражайшей Герой...
(Проходя мимо хора Океанид.)

Смотрите же, красогки! Пусть для вас
Все это будет действенным уроком!

Зевс уходит; слышен удаляющийся хор Жрецов.

Ж р е ц ы

О, светлейший,
Всемогущий
Повелитель,
Властелин!
Справедливейший,
Мудрейший,
Миром править
Ты один!
И без милости
Твоей
Лишь Ио
И Прометей.

ЭПИСОДИЙ ДЕВЯТЫЙ

Прометей

Вот, милая Ио,
Как получилось!

Без милости светлейшей —
Только мы...

Насмешливой, завистливой судьбою
Все решено за нас —

Нам вопреки,
Не совпадение и не случайность
В том, что удар обрушился на нас —
На нас двоих, на нас обоих сразу.
Лишь мы достойны здесь подобных кар,
И не могло иного быть исхода.
Но все, конечно, было б по-другому,
Когда б иным был этот жалкий мир.
Ужасная судьба у нас обоих,
Но боль моя в сравнении с твоей
Мне кажется поистине ничтожной.
Что ждет тебя еще,
Моя Ио!

И о

О Прометей! Прости меня! Донныне
Твою я не оплакала судьбу.
Вся погрузившись в собственное горе,
Я словно позабыла о тебе,
Ах, разрешите только на мгновенье
Остановиться и проститься с ним!

Х о р

Ах, разрешите ей проститься с ним!
Р а б ы перестают бить И о плетью.

И о

Ты помнишь наш благословенный праздник?
Большие Дионисии.
Весна.
И девушки,
И юноши —
Все вместе
Мы собрались и весело следим,
Как во главе компании сатиров
Проходишь по деревне ты — Силен.
Ты так взглянул тогда,
Меня минуя,
Что я смутилась, покраснела вся...
И ты сказал...

Прометей

«Пойдем со мною в горы!»

И о

Отец не разрешил мне. А потом...

Прометей

Погом я в горы гнал овечье стадо.
В горах, когда лежал я близ костра,
Часами я смотрел в ночное небо —
И звездное,
Глубокое,
Оно
Твоими несказанными глазами,
Казалось мне,
Глядело на меня.

И о

Теперь...

Прометей

Теперь у нас одни страдания.
Беда свела нас ныне, чтобы вновь
Мы разлучились, потеряв друг друга.
Когда еще мы встретимся опять?
Предатели
Карают нас за верность,
За то, что мы в отличие от них
Не продали себя
Взамен на тряпку,
На пядь земли,
Овцу или козу.
Я верил людям,

Я желал им блага,
Надеялся, что им смогу помочь,
Их темный быт
Преображая светом
И согревая души их огнем.
Их слепота,
Неверность,
Малодушие
Больнее для меня всех прочих мук.

И о

Они нас победили,
Эти люди.

Прометей

Не победили —
Предали, Ио!

И о

Ты будешь ненавидеть их отныне?

Прометей

Когда бы я возненавидел их,
Я б постарался сделаться подобным,
Похожим на любого
И на всех.
Я б с ними вместе славословил рабство,
Насилие,
Невежество,
Тщету.
Поружу круговую,
Лицемерье
И многое еще,
Что им сродни...
Но я люблю людей,
Я их жалею —
Вот почему я выбрал этот путь.
Познай людей
И, несмотря на это,
Познавай роковому вопреки
К ним сохранять любовь —
Не только жалость —
Здесь счастье для меня.

И о

Здесь боль и мука.

Прометей

Здесь радость и страданье
Вместе слиты,
Так сплавлены,
Что разделить нельзя
Ни помыслом,
Ни словом,
Ни руками.
Здесь тьма незрячая, но вдалеке
Угадывает взор
Источник света.
Здесь рабство безысходное, но мне
Провидится грядущая свобода.
Здесь малодушие, но за ним сквозят
И мятежи,
И мужество,
И смелость
Не только плоти —
Духа самого...

И о

Я, Прометей, тебя не понимаю.

Прометей

Не понимаешь? Но ведешь себя
В согласии со мной и со словами,
В которых суть удела твоего.
И это — наше торжество,
Победа.

Никто не сможет нас ее лишить,
И наши судьбы,
И тела,
И души
Как бы объемлет сумрачный покров,
Но ветер времени
Рассеет тучи,
И все увидят, словно бы прозрев,
Две ярко озаренные вершины.
Благословив их,
Каждый человек
Свою былую проклянет незрячесть
И обвинит
Безжалостных богов
И в наших муках, и в своем позоре.
Безжалостные,
Жалкие
Божки
По имени
Невежество и Алчность,
Ложь,
Произвол,
Насилие,
Рабство,
Страх...
Увы, они живут от века в людях.
Ведь человек
Суть собственный свой раб,
Своя же беззащитная добыча.
Богов на свете нет,
И человек
Сам — бог,
Творец,
Властитель,
Созидатель...
Все это я хотел сказать тебе,
Когда весною звал с собою в горы.
Хотел я показать тебе звезду,
Которой дал твое благое имя.

Рабы

Довольно. Мы не можем больше ждать,
Пока вы время тратите впустую
На долгий и бесплодный разговор,
Подобный неосмысленному бреду.
Нам Герою и Зевсом дан приказ:
Плетями гнать Ио до края света.

Прометей

Край света для таких слепцов,
Как вы,
В их темноте,
Невежество
И рабстве,
А для нее нигде не может свет
Погаснуть или кончиться.
Напрасно
Пытаетесь вы выполнить приказ.

Рабы

Не беспокойся. Мы найти сумеем
Край света
Для любого и любой...

Прометей

Он в вас самих.
Искать его не надо.

Рабы

Послушай, ты,
Прикованный к скале!
Мы только выполняем приказанье.
Животными ты зря считаешь нас.
Мы думаем,
Мы чувствуем,
Мы видим...

Прометей

И сверх того
Страдаете,
Как все.

Рабы

Да, и страдаем.

Прометей

Значит, вам понятны
Чужие муки. Значит, вы должны
Сочувствие иметь к чужим страданиям.

Хор

Ах, не гасите этот чистый пламень!
В сиянии его
Земля и люди
Еще способны привлекать сердца,
Мы молим вас:
Еще одно мгновение!

Прометей

Я буду говорить лишь о тебе.
Мой долг теперь — поведать о грядущем.
Ты прибежала с берега, Ио,
Не зная, что позднее это море
Название получит в честь тебя.
Твой путь отсюда — к ледникам Кавказа,
Там повернешь на юг и среди гор
Найдешь дорогу к берегу морскому,
Переплывешь пролив — его потом
Все будут звать «Коровьей переправой».
Два имени —
Босфор и Иония —
Останутся навеки в честь твою,
И с ними — память о твоих страданиях.
Близ устья Нила кончится твой путь
И завершатся наконец мученья.
Там сыновей дано тебе родить.
Один из них, тринадцатый по счету,
Герой Геракл освободит меня...

Первый раб

Да он свихнулся, если полагает,
Что столько лет еще он проживет.
Уже сейчас должна бы эта девка
За сыном сына
Начинать рожать.

Второй раб

По молодости кажется обним,
Что перед ними вечность,
Так всегда
Казалось молодым.
Зато позднее
Придется им признать свою ошибку.

Первый раб

Послушай-ка, а если бы в горах
Упала девка в пропасть...
Ненароком?
И нам, и ей мотаться б не пришлось?

Второй раб

Богов побойся!
Нас они накажут.

Первый раб

Так он же говорил,
Что нет богов!

Второй раб

Зато есть люди.
Понял я, что оба
Страдают ради всех других людей.

Первый раб

Быть человеком, может, и не стоит,
Коль нужно ради этого
Страдать
Так безысходно,
Бесполезно,
Тщетно.
Вот я гляжу теперь
На них двоих
И думаю:
Не лучше ль все же рабство?
Как хорошо,
Что я емь только раб!

Второй раб

Он потому и мучается ныне,
Что раб не хочет человеком стать.

Первый раб

Из-за меня, выходит, тоже? Странно!
Ведь я же не приказывал ему,
Как может приказывать рабу хозяин,
Как человек приказывает мне.

Второй раб

А он ничьих не слушает приказов.
Ведь человек
В отличие от раба
Лишь собственной
Всегда покорен воле.

Первый раб

Да, любопытно!

Второй раб

Долгий разговор..
Прошу прощенья, молодые люди,
Но нам пора, давно уже пора.
Кто знает, далеко ль до края света
И сможем ли добраться дотемна?
А в полночь мы должны быть снова дома...

Ио

Бегу, бегу. Я буду так спешить,
Чтобы приблизить миг освобожденья!..
Благодарю тебя за все, за все —
За муки,
За любовь
И за надежду!
Теперь я благодарна небесам
За то, что мне ниспослано страданье
И я смогла приблизиться к тебе..
Ио убегает.

ЭКЗОД

Прометей

И удаляясь,
Ты ко мне стремишься!
Когда почками, лежа у костра,
Смотрел я на мерцающее небо,
Всегда встречал я твой ответный взгляд.
Взгляд этот ощущаю я и ныне.
Твои лучи касаются меня
И согревают зябнущую душу,
В которой начинает таять лед.
Нет более во мне жесточенья —
Одна лишь бесконечная любовь,
И правый гнев,
И жалость,
И надежда,
Я вновь могу любить
Весь этот мир —

Людей,
Животных,
Небеса
И землю,
Полдневный зной,
Полночную марь,
Мистерию восхода
И заката,
Луну и солнце,
Самое скалу,
К которой я прикован прочной цепью.
У каждого из нас
Своя скала,
Но между ними —
Явственное сходство.
Так могут друг на друга походить
Раздельные,
Раздробленные части
Единого когда-то вещества.
Мы все цепями радостей,
Страданий
Прикованы к скале,
Чье имя —
ЖИЗНЬ.
Товарищи по счастью и несчастью,
Товарищества мы не признаем,
Мы безразличны,
Равнодушны,
Скупы
На сострадание
И на добро,
Зато с избытком щедры на любые,
На всяческие проявления зла.
К скале от века человек прикован —
Посередине,
Меж ничем и всем,
Меж прошлым и грядущим,
На границе
Взаимоисключающих
Миров —
Небытия и бытия,
На грани
Мятущихся, враждующих начал —
Звериной, алчной, ненасытной плоти
И подлинно божественной души.
Опасен переход любой границы...
Я уподобил
Эту жизнь
Скале.
Но правильнее было б, вероятно,
О том же самом
Иначе сказать.
Земля,
Которой мы еще не знаем,
Отпавшая от солнца,
В море тьмы
Всецело погружившаяся ныне,
И есть скала,
К которой человек
Прикован бесконечными цепями.
Но человеку мало всех цепей,
Он алтарю уподобляет землю
И, жертвоприношения любя,
Приносит в жертву и чужие жизни,
И — зачастую — собственную жизнь.
И жертвоприношение,
И жертву —
Любимое занятие свое
И сам предмет бессмысленного действия —
Единым словом люди нарекли.
Но разными бывают наши жертвы.
Благословен, кто жертвует собой
Для человечества
И человека.
Чтоб над всеильным, всемогущим злом
Добро сумело одержать победу,

Чтоб слабый человеческий росток
Смог зародиться
В первобытном звере.
Как хрупок этот крошечный побег!
Как нелегко ему тянуться к солнцу
Сквозь все миазмы злобы и вражды!
Как часто смертоносная отравы
Уничтожает нежные ростки!
Плогь поедает собственную душу,
В зверином теле погибает хилый дух
И остается жалкое подобье —
Уродливый, убогий стебелек,
Который извивается, как черви,
Не в силах оторваться от земли.
Да и зачем?
Одно, одно лишь важно:
Побольше!
Пожирнее!
Взять!
Отнять!
Не отдавать!
Использовать!
Присвоить!
Распространиться!
Властвовать!
Владеть!
Поработить!
Унизить!
Уничтожить!
Сломать!
Сломить!
Заставить замолчать!
Принудить!
Обогатить!
Убрать!
Упрятать!
Скрутить в бараний рог!
Согнуть в дугу!..
Так много слов для мерзости единой!
Откуда же они? Из тех пещер,
Где дикие бессмысленные звери
В словах пытались выразить себя.
С дубиной и копьём косматый предок,
Впервые создающий наш язык,
Мне чудится за этими словами.
О, хрупкий человеческий росток!
Как защитить тебя от слов, от действий,
От всех орудий пыток и войны,
От всех отрав,
Растления,
Коварства,
От изуверства,
Фанатизма,
Лжи?
Какое чудодейственное пламя
Преобразит,
Согреет,
Исцелит
Слепую человеческую душу,
Дабы она прозрела и смогла
Любить,
Бороться,
Жертвовать собою?
Не приносить страдания другим —
Самим страдать, коль нужно, для другого...
А ненависть, презрение, вражда —
Пусть и они служить сумеют благу,
Направленные только лишь на то,
Что должно нам искоренить навеки.
Бездонен, словно пропасть, человек.
И эти бесконечные провалы
Наполнить нужно веяньем благим.
Не только словом —
Делом и примером,
Самим собою,
Собственной судьбой

Пытаюсь я служить великой цели,
Но столько надо столпников других!..
Как камешек срываясь в эту пропасть,
Я верю, что недаром выпал мне
Нелегкий мой, благословенный жребий,
Что будет огклик, отзвук.
Что меня
Услышат,
И поймут,
И не забудут.
Я верю,
Что другие,
В свой черед,
Пойдут за мной,
Что ныне —
Лишь начало
Единственно возможного пути.
Иду навстречу всем грядущим мукам,
Своей судьбе, обиде, торжеству,
Не прекослова
И не проклиная
Ни недругов, ни их незрячих слуг —
Одно лишь рабское долготерпенье..
Так надо, если хочешь походить
На человека,
Будь подобен богу,
Который даже муку обратит
В блаженство,
Искушение,

Надежду.
Так надо, ибо каждый человек
Таит в себе
Божественную искру,
Которую я тщился превратить
В войстину немеркнувшее пламя.

О к е а н

Свободен он уже ото всего
Минувшего, прошедшего, бывшего,
Того, что было,
Что могло бы быть,
Чего, однако,
Никогда не будет.
Свободен он
От зла
И от добра,
От наших зол и радостей,
От наших
Бесчисленных обыденных забот.
Идемте, дочки! Наступает вечер,
Пора скотину нам пригнать домой.
Закинуть, может быть, успеем сети,
Тогда на ужин рыбу поедим.
Идемте, дочки!
Мы ничем не можем
Помочь ему.
Он слишком высоко.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ

ЖЕНИТЬБА ДОН-ЖУАНА

Ироническая поэма в семи песнях

ОТ АВТОРА

Как бывало со мной и прежде, эта поэма явилась для меня полной неожиданностью. Сначала хотелось написать стихотворение с названием «Женитьба Дон-Жуана», проследить чисто психологический момент такого шага, что само по себе настраивало на иронию и шутливость. Если бы стихотворение написалось, о поэме не было бы и речи, однако при многих попытках мне оно не давалось по формальным причинам. Привычный и верный мне ямб на этот случай оказался бессильным, может быть, по той же причине, о которой сказано в самом начале пушкинской поэмы «Домик в Коломне»:

Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пшшет всякий. Мальчикам в забау
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.

Случилось, что меня, наоборот, выручила мальчишеская забава. Когда-то в Марьевке, бегло знакомый с октавой и спенсеровской строфой «Чайльд Гарольда», не имея их под рукой, я начал сочинять что-то шутливое, будучи уверенным, что пользуюсь одной из этих классических форм. К моему позднему удивлению, моя «октава» оказалась строфой, которая мне пока не встречалась в русской поэзии, а главное — она пришлась к моему двору, к замыслу, внеся в него некие мечтания моей ранней юности. Объемная форма строфы открыла мне возможности поэмы.

В подзаголовке поэма названа иронической не для оправдания шутливости, насмешливости, даже сарказма ее отдельных мест. Ирония в ней, на мой взгляд, носит структурный характер. Со многих явлений она должна снимать элемент привычности, обнаруживать в этой привычности и комическое и трагическое даже в их соседстве. Ирония вообще обладает пластикой тональных переходов.

Возможен вопрос: а зачем далекого нам Дон-Жуана делать нашим современником? Можно было бы ответить, что так в свое время делал и Мольер, и Байрон, и Пушкин, но этого мало. Дело в том, что многие узлы нашей морально-нравственной жизни, которые мы распутываем, были завязаны в далеком-далеком прошлом. Сохраняя преемственность прежних Дон-Жуанов с их романтическим ореолом, мой Жуан в жажде семейного счастья, как одного из главных смыслов жизни, проходит путь от героя и полубога к человеку.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

У бога мертвых нет...

Древняя мудрость

Пройдя через века
По многим странам,
Стихам,
Поэмам,
Драмам и романам,
Пройдя легенд мистический туман,
Познав мужей ревнивых гнев и ропот,
Душой устав и накопивши опыт,
В наш новый век женился Дон-Жуан.
А впрочем, к безрассудному почину
Имел Жуан двоякую причину.

Женился он,
Сказать приятно мне,
Не где-то, не в какой-то там стране,
А именно у нас, в Стране Советов,
Где появился после тех времен,
Когда стал замечать, что обойден
Вниманьем своих западных поэтов.
Не мнил и здесь к Суркову в стих попасть,
Но знал, что в новизне
Новей и страсть.

О, страсть любви!
От самых давних дней
Он дивным был художником страстей,
Но многоцветье высших ощущений
Сгубила буржуазности печать,
Когда нужды не стало обольщать,
Все женщины пошли без обольщений.
А если чувства словом не цветут,

От страсти
Обновления не ждут.

Лишь страсть ценна.
Прожив века, он знал,
Как изменялся жизни идеал,
Как старики к безумым шли на милость,
Как занимали троны торгаша,
Как падала во всем цена души,
Как все менялось, билось и дробилось,
Но страсть любви
Во все века и лета
Была как неразменная монета,

Явился он
В предел моей страны,
Конечно же, не в поисках жены,
Скорей всего хотел поволочиться.
Когда ж увидел стройку вергопрах,
Ее ошеломительный размах,
Решил остаться и переучиться,
Чтоб смыть с души
Без прежнего цинизма
Родимое пятно феодализма.

Итак, на стройке
Страсти пилигрим
Прижился даже именем своим:
Жуан ли, Жан ли, был бы работага.
В то время, как теперь сдается нам,
К туманным иностранным именам
Была у нас особенная тяга,
Хоть римский Цицерон, к чему чиниться,
Звучит по-русски
Вроде Чечевицын.

И все-таки потом
Приставку «дон»,
Как ни звучна была, отбросил он,
Взял и отсек без всякого терзанья,
Как отсекают, взятую в щепоть,
Вполне живую, трепетную плоть
При тягостном обряде обрезанья.
Жуан без «дон» по собственной охоте
Стал проще,
Как еврей без крайней плоти¹,

Не диво ли,
От первого «люблю»
У нас закон оберегал семью,
А строгому закону в подкрепление
Через цехком, завком и женсовет,
Партком и комсомольский комитет
Был и закон общественного мнения,
И тот, кто преступал за грань закона,
Не избегал порой
И фельетона.

«Вот хорошо,—
Подумал жен желанник,—
Что у семьи так много добрых нянек,
Особенно для грешных, кто, как я,
Решил навек оставить круг порочный,
С такой подмогой счастье будет прочно.
Долой разврат!
Да здравствует семья!»
Тогда еще не знал он иносказ:
«Семь добрых нянек,
А дитя — без глаз».

«Долой разврат!»
Сказать-то просто. Кстати,
Поговорим немного о разврате,
Перелистнем страницы словарей,

Откроем те, где есть определенно
Разврату, как порочному явлению,
С позиций моралистов наших дней.
Увы, воображенью не мешая,
Молчит Энциклопедия Большая.

С послушностью
Напримерных чад
Вослед Большой и Малые молчат.
Но тут себе позволю замечанье:
Встречаются и в жизни иногда
Такие рассуждения, когда
Бывает вразумительней молчанье.
Ну сами посудите; для морали
Не стало б легче,
Если бы орали,

А может,
Надо только ликовать,
Что дали мне возможность толковать
Добра и зла житейские приметы.
Меж ними очень узенький порог:
Чуть-чуть переступил — уже порок,
Чуть-чуть недоступил — порока нету.
А мера где, чтобы в разврат не впасть?
Одна лишь мера —
Истинная страсть.

Не бойтесь страсти,
Но в любви горячей
Любая страсть
Должна быть только зрячей.
Пусть синие померкнут небеса,
Пусть голубые рухнут небосводы,
Но писанные матерью-природой
Любви своей храните адреса.
В мужчине с женщиной
Есть святой дух,
Когда хранится ими тайна двух.

Открывший тайну —
У порока в сетях,
К ночам любви не подпускайте третьих
Ни воспаленных, ни холодных глаз,
Чтоб трезвым не раскаиваться завтра,
Из ласк любви не делайте театра,
Не выставляйте счастье напоказ.
А для картин о чуде женских ножек
Нам нужен не развратник,
А художник.

Еще и ныне вызывает спор
Рембрандта мудрого «Ночной дозор».
На той картине в призрачном луче
Стоит среди дозорных, в их оплоте,
Не то девочка-нищенка в лохмотьях,
Не то принцесса в золотой парче.
В лохмотьях — тем,
В ком мало интереса,
Влюбленному любовь —
Всегда принцесса.

Иной готов
При чувстве небогатом
Любое чувство называть развратом.
Увидев наготу на полотне,
Такой спешит с поспешностью кретина
От самой благороднейшей картины
С тупым упреком к собственной жене.
Хоть крик борца со всяческими «мянн» —
Не крик ли
Вопиющего в пустыне?

Художник — полубог,
Когда творит,
Влюбленный — бог,

¹ Религиозный обряд у мусульман и иудеев.

Когда душой горит,
Но по возможности воспламеняться,
По высшему призванию творцов —
Детей, картин ли —
В качестве отцов
Они местами могут поменяться.
Прекрасна страсть, взлетевшая высоко,
А холодность души — душа порока.

Как часто бьют
В ревнительный набат,
Как часто говорят:
«Разврат!.. Разврат!..»
Разврат — когда из низких побуждений,
Когда же побужденья высоки...
Не юноши, а чаще старики
Скользят на тропках темных походов.
Нет, истинную страсть, ее азарга
Не надо путать
С путями разврата.

Душа Жуана,
Как одна из ста,
Была добра, наивна и чиста,
Страдательно доверчива к тому же,
На красоту отзывчиво-легка,
Пред женщиной до ужаса робка,—
Что вовсе странно для такого мужа.
Еще странней, что в нем преобладало
Не мужество,
А женское начало.

И вот теперь
Из этого клубка
Потянем нить с понятием «робка»,
Посмотрим и заметим к удивленью,
Что эта робость в нитке не одна,
Что эта робость мудро сплетена
С готовностью к ее преодоленью.
Так истинный актер, талант бесценный,
От робости дрожит
За шаг до сцены.

И все же
В ситуации любой
Жуан по страсти был самим собой.
Жалка лишь подражания печать,
Поскольку подражатели желают
Того, кому нахально подражают,
Перешуметь, на крик перекричать.
Нет, не Жуан смешон,
Смешней всего
Слепые подражатели его.

Мы с ним сошлись,
Встречаясь на работе,
На зауральском авиазаводе.
Не жалею, что жизнь меня свела
И крепко подружилась как-то сразу
С конструктором, тогда из цеха плазов,
Из группы элерона и крыла.
Здесь, как в любви
Негаснущего женья,
Конструкторам нужно воображенье,

Высокий,
Строгий,
То горяч, то тих,
Глядел он на творенье рук своих,
На связь узлов очерченного плана.
Скажу, на сердце руку положу,
Жуан при толкованье чертежа
Был строже толкователей Корана.
Недаром святость плазового цеха
Была для заводских,
Как туркам — Мекка...

В то время
Из туманной красоты
В нем проступали четкие черты.
Так юности нетронутые лица,
Всегда чуть-чуть хмельные без вина,
Всегда в туманце, будто после сна,
Вдруг обретут гранитные границы.
А эта четкость, эта твердость камня
У женщин будит
Большие желанья.

Так и случилось.
Изо всех дорог
Они искали всяческий предлог
Прийти к Жуану, как на техэкзамен,
С холодным равнодушьем напускным
Поговорить о срочном деле с ним,
Остекленев любимыми глазами,
Потом уйти,
Не выяснив значенья
Каких-нибудь деталей сочлененья.

Но так себя вели,
Боясь изнанки,
Скорей всего студентки-практикантки,
А женщины постарше тех девиц,
Без всяких институтов и теорий
Познавшие законы траекторий,
Стрелять умели из других бойниц.
Они-то ведали, что платья вырез
Глаз ловко заглянувшего
Не выест.

Как всякий
Положительный герой,
Он в строгости переборщил порой,
Легко судил себя, судил других.
Не будьте строги
К собственным изъянам,
Вину за них отдайте обезьянам,
Поскольку мы произошли от них.
История в стремление к идеалу
Нам не дала
Другого матерьяла.

К своей жене,
Чтоб не казалась мелкой,
Не подходите с необъятной меркой,
Иначе с ней не сжиться и не спеться.
От женщины, коль не мудрит сама,
Не надо ждать сверхмудрого ума,
У женщины должно быть умным сердце.
Она решает в случае любом
Сначала сердцем,
А позднее — умом.

Жуана моего,
Чтоб не мрачить,
На этот счет не мне было учить,
Но в нашем мире — мире небывалом,
Где истины не ходят нагишом,—
Мы устоим на принципе большом
И вдруг заспотыкаемся на малом.
Так у него случилось в ходе дела
С Аделаидою из техотдела.

Она была,
Признать открыто надо,
Не мирового женского стандарта,
А если говорить начистоту,
Ее до встречи с ним я видел трижды,
Да, да, и ничего, а вот поди ж ты,
Мой друг в ней заприметил красоту.
Увидел он всей зоркостью своей
Прелестное ушко
Среди кудрей.

В нем были хороши до удивленья
Все линии, их матовые тени,
Сферически-лирический овал,
В другой овал миниатюрно вхожий.
А кожа!.. Боже мой, так грубо кожей
Я чудо несказанное назвал.
Теперь представьте
Тот эффект великий
От сказочных светильников
При лике.

Для женщин,
Чтоб занять достойный ряд,
Два ушка вот таких же — сущий клад.
Но среди нас бываю добряки,
Все хвалят в женщине — и то и это,
Того не зная, что и две строки
Из пухлой книги делают поэта.
Недаром за ушком
В тенстой прядке
Мой страстный друг
Помчался без оглядки.

Как встретились
И чем была награда,
В подробностях рассказывать не надо.
Он счастлив был, но говорил:
— Пойми,
Во мне все та же вековая рана.
Я счастлив
Прежним счастьем Дон-Жуана,
А не спокойной радостью семьи.
Хочу иметь жену, иметь при ней
Разноголосый выводок детей.

Почти супруг,
Почти уже родитель,
Он гордо оглядел свою обитель,
Для этой цели годную вполне,
Как пьяный в упоительном угаре,
Вдруг потянулся к вековой гитаре,
Тихонею висевшей на стене,
С которой в прошлом,
Будучи влюбленным,
Пел серенады
Всеяким разным доннам.

«Обманутый в жизни
Судьбою злодеец,
Не внял, не прозрел я
Пути своего.
Потратил я жизнь
На разгулы и женщин,
Ни те, ни другие
Не стоят того.

Бессмертную славу
Меняю охотно
И сердце вручаю
Лишь смертной судьбе.
На что мне бессмертье,
Бессмертье бесплодно,
Пока не увижу
Творца и в себе.

Одну назову лишь
Свою судьбиной,
Одна лишь на свете
Мне станет родной.
Любви упоенье
Найду я в любимой,
Все прелести мира
Открою в одной...»

Так пел он,
Фантазируя при этом,

Как, став отцом,
Позднее станет дедом.
Но счастье создавалось невзначай
И так же невзначай оно распалось.
Кого на радость завлекает малость,
Тот и от малости впадет в печаль.
Как ни смешно,
А роль судьбы злодеец
Аделаидины сыграли вещи.

О, вещи, вещи!..
С темных древних дней
Они друзья и спутники людей,
Как лошади, собаки и коровы.
У них есть память,
Есть особый взгляд,
Что человек забыл, они хранят,
Не говоря до времени ни слова.
Зато каким,
Однажды неминуемым,
Бывает злым их говорок скрипучий.

Все вещи
По служивости своей
Сживаются с характером людей,
Порой перенимают их недуги,—
Быть может, в том и состоит уют,—
Кряхтят, скрипят и даже предают,
Как давние и близкие подруги.
Иные женщины об этом знают
И потому так часто
Их меняют.

Не знала Ада,
Только молодилась,
Хотя Жуану в нянюшки годилась.
Для разных специй был и разный срок:
Зимой — охлада сыворотки млечной,
А жарким летом — нежно молочечный,
Зеленоватый огуречный сок.
Зато она казалась молодой,
Пока не привела его домой.

Воскликну
Без намерений придиры:
О, наши коммунальные квартиры!
Тыходишь в них не просто, а нырком,
Чутьем пройдя то занятое место,
Доставшимся от бабушки в наследство
Каким-нибудь громоздким сундуком.
Потом тебя от прочих потаенно
Ведут куда-то в темень,
Как шпиона.

Переступивши
За второй порожек,
Жуан увидел пару стройных ножек.
Нет, нет, я не хочу интриговать
И прикрывать их кружевной оборкой.
Читатель милый, то была кровать
С подушками, уложенными горкой.
А за кроватью, сторожившей вход,
Стоял буфет, стул,
Столик и комод.

О, вещи, вещи,
Даже без обновки,
Как людям, вам нужны перестановки.
Иной себя сто раз переметнет —
И там нехорошо,
И здесь не климат,
Но вот однажды в угол передвинут,
Глядишь, и свое место обретет.
У Ады и в простенках и в углах
Все вещи были
На своих местах.

Одно забыл.
Стоял еще трельяж,
Имевший тоже ветерана стаж.
Трельяжиком его назвал бы я,
Перед которым Ада то и дело
Легко порхала — о, она умела
При госте прихорашивать себя,
И как бы этим меж собой и им
Создать не что иное,
Как интим.

Но что интим!
Все атомы интима
На этот случай пролетали мимо.
Душа его, как прежде — налегке,
На зов ее любви не отзывалась.
«Где красота?
Куда она девалась?» —
И цепенел в позорном столбняке,
Меж тем на кухне женщины-чистюли
Со злым усердием
Чистили кастрюли.

Коль ты в гостях,
Умей себя улыбнуть,
Предложенный напиток надо выпить.
Чудак Жуан впервые пить не стал,
А не имей он прошлого отрыжек,
Не помни про себя известных книжек,
То выпил бы, а выпив, и воздал,
Но Байроны и прочие Мольеры
Избаловали парня
Больше меры.

Померкла Ада.
В прежнем нежном стиле
Светильники Жуану не светили,
Они погасли, стала вялой речь...
Как это горько!
Чуткое на жалость,
Мое бы сердце от сочувствия сжалось,
Душа зажглась бы, чтоб любовь зажечь,
Хоть в случае таком же наши Ады
Бывают с нами
Так же беспощадны.

Кто виноват?
Скажу не воровато,
Скажу открыто — вещи виноваты.
Послушны вещи лишь по мелочам,
Но в главном, даже взять и стул-калеку,
Не вещи потакали человеку,
А человек прилачился к вещам.
Они-то Аду, равную годами,
И делали при них
Такой, как сами.

Есть заведенья,
Где на первый взгляд
Поношенные вещи молодят,
Продельвая сложные работы:
Как женщин красят, клеят ловко так,
Что, нанеся на них волшебный лак,
Им возвращают прежние красоты,
Но дни пройдут, и где-нибудь, однако,
Реальный возраст
Глянет из-под лака.

У красоты нет возраста, когда
Ничем не нарушима красота,
Когда ее изнанка мудро скрыта.

Земля в цвету юна, но шрам косою
Геологу откроет мезозой
И меловые тайны мезолита.
А наша Ада, как заметил гость,
И без ущерба виделась насквозь.
Жуан подумал,
Не желая лгать:
«Пока не поздно, надо отступить.
Еще одна победа — шаг к полону,
Но если отступление суждено,
Пусть будет подготовлено оно,
Иначе быть великому урону...»
И тут мой друг задумался, решая,
Как отступить,
Ее не унижая?

На этот счет
У многих разнбой,
Но вывод общий: поступишь собой!
Жуан глаза, припуская веки,
Трагически закрыл на этот раз.
— Вы хороши... Я недостоин вас!.. —
И прочее... Ну, словом, как Онегин...
Все мы цитатчики,
Все мы богаты
Не на свои слова,
А на цитаты.

Они расстались,
Что тут говорить,
Расстались так, что некого корить
И некого оплакать горьким плачем.
Мой друг, неуязвимый до сих пор,
Покинув затемненный коридор,
Унес отраву первой неудачи.
И сам я в юности немалый порох
Растратил в этих жалких коридорах.

Вперед, вперед!
Но строй моих октав
Нетороплив, как смешанный состав
Вагонов пассажирских и товарных.
Сам виноват, неторопливость их,
Должно быть, от созвучий кольцевых,
От полных рифм,
Нерасторжимо парных.
Зато октавы и прочны и строги,
Такие не рассыплются в дороге.

Я сам
И пассажир
И машинист,
Сам для себя даю гудки и свист,
Сам провожу ремонтные работы,
Сам разгружаю грузы и гружу,
Сам стрелочник, состав перевозу,
Когда приходит время поворота.
На повороте жизненных путей
Судьба героя
Нам всегда видней,

Кто раз обжегся,
Тот позднее всеу
И на холодное все время дует.
Так и Жуан, с женитьбою — молчок,
Замкнулся, на работе окопался,
Я было начал... Бедный забрыкался,
Как молодой некладеный бычок,
Когда тому, пощекотав слегка,
Ярмо надели
В качестве венка.

Зато Жуана —
Новость громче грома! —
Избрали председателем цехкома,
А старого решили проучить,
Пусть хотя бы временно в негодность
За то, что сам, имея очередность,
Не смел себе квартиры получить:
Мол, если для себя не стал ты притче,
То для других
И вовсе не добытчик!

Сей случай,
Как внушительный урок,
Лишь глупым и стыдливым был не впрок.
«Нет, воле избирателей своих,—
Иной подумал,— нечего перечить.
Себя сначала надо обеспечить,
А уж потом подумать о других.
С такой программой,
Посудив заглазно,
Глядь, снова выберут единогласно».

Читатель мой,
Ты спросишь поневоле:
«А как Жуан в руководящей роли?»
Ну что ж, скажу. Предшественник его,
Перемотав ему и многим нервы,
Стал в списке на квартиры снова первым.
«А что еще?»
Пока что ничего.
Как раз в те дни,
Когда он в роль входил,
Я отпуск взял и к морю укатил.

ЦЕСНЬ ВТОРАЯ

У нашей свѣхи так:
хожено, так слажено,
а расхлебывайте сами!

Русская пословица

О море, море!..
В юности когда-то
Я изумился, что оно горбато,
Но позабыл об этом в малый срок,
Познав его божественную дивность.
Нырнуть в него —
Вернуться в первобытность,
Вновь народиться — выйти на песок.
Недаром же, пожившие на свете,
У моря мы беспечнее, чем дети.

О море, море,
Как я наслаждался!
Ходил в ущелье, загорал, купался,
Пил горькую, медок и даже квас,
И чтоб со мною не случилось худо,
Что именно, я говорить не буду,
Меня втащили Музы на Парнас,
А на Парнасе, все же это знают,
Уже не пьют,
А только сочиняют.

Там сочинял и я,
Пока жених
Не перепутал замыслов моих.
Тогда к столу с лукавым выраженьем
Подседа Муза, подперев щеку.
— Что, не выходит?.. Дай-ка помогу!..
Не женится?! Ну если надо, женим!..
Так, отогнав сомнения и страхи,
Ко мне явилась Муза
В роли свахи,

Был замысел ее
Житейски прост:
— Во-первых, твой Жуан имеет пост,
Пост в наше время свадьбе не помеха,
А во-вторых — награда по труду! —
Жуан теперь все время на виду,
Что очень важно для его успеха.
Судьба не раз женила и венчала
Вот на таких
Общественных началах.

Есть у меня
Наташа Кузьмина,
Вся для посева, были б семена,
Не девушка — восторг любви заветной.
Возьми сведи их, а потом жени.
Поверженное зло соедини
С душою и любовью первоцветной.
Тут, грешного, меня сомненья взяли,
И я спросил:
— А самому нельзя ли?

— Как это «самому»?! —
Вспылив мгновенно,
Меня отчитывала Муза гневно: —
Ты — не творец! Терзайся и страдай,
Влачишься в пыли, валяясь под горою,
Но лучшее в себе отдай герою,
Из сердца вырви, а ему отдай.
В том и беда творцов пера и кисти,
Что пишут
Из тщеславья и корысти.

Стихи поэта —
Горшая из нив,
Речь Музы — нету строже директив.
Хотя корила, так сказать, приватно,
Но дал ответ на то не сразу я:
— Ну вот, с тобой и пошутить нельзя,
А с Кузьминой получится неладно.
Ты знаешь, что Наташа Кузьмина
Два года
Как с другим обручена?

Не удивилась Муза,
Мне внимая,
Лишь горько улыбнулась:
— Знаю, знаю!..
Они клялись, когда тот призван был,
Но в том и грех, что паренек служивый
В присяге чувству оказался лживый,
Письмо ей написал, что разлюбил,
Что женится в стране Дальневосточной,
Что остается в службе
На сверхсрочной.

— И что Наташа?
— А Наташа плачет,
Не понимая, что все это значит. —
Мне жалость горькая сдавила грудь:
— Нам не оставить ли ее в покое
До выяснения, что же с ней такое?
— Нет, нет! Со свадьбою нельзя тянуть!
Жуан красив, начнет любить и нежить,
Она утешится.
Пора утешить!

Сказала так,
Как будто отрубил,
Вздохнула — и уже миролюбиво:
— Ты — сочинитель, призванный творить,
Вот и твори, на горькой правде зрея.
Как бесполезно жизни быть добрее,
Так безрассудно и жесточе быть.
Об остальном когда-нибудь доспорим,
Теперь пойдя
И попрощайся с морем,

О море, море,
В этот час прощанья
Как мне любезно волн твоих качанье
И шум, когда волна о берег бьет.
На море море в шумах не походит,
Балтийское колотит, как молотит,
А Черное, хоть гневно, но поет.
Мне, человеку северного круга,
Роднее почему-то
Море юга.

Оно во мне
Еще так долго пело
Уже в моем краю, в метелях белых,
Оно играло снежной белизмой,
Когда спешил я к двери ресторана
На свадьбу ожененного Жуана,
Сведенного с Наташей Кузьминой
Не где-то, не в каком-то частном доме,
А на одном собрании
В завкоме.

Русоволоса,
Издали видна,
Она была высока и стройна,
Во всех приманках вызревшая к сроку,
Был у нее чего-то ждущий взгляд,
Каким невесты, как во сне, глядят
На все еще пустынную дорогу.
Тут мой Жуан, подвинутый судьбой,
И очутился
На дороге той.

Все ладно бы,
Но чем утишить стыд
И боль Аделаидиных обид?
Мне показалось, верьте или не верьте,
В просвете ресторанного окна
Туманно обозначилась она
И растворилась в снежной круговерти.
Должно, где свадьбы,
Там в бессонном бдении
Загубленной любви
Блуждают тени.

Как ни спешил,
Но опоздал настолько,
Что за столом уже кричали «горько!».
И вот Жуан, обняв плечо жены,
Склонился над лицом наивно-юным,
Затмил его, как при затменье лунном,
Когда Земля закроет лик Луны.
Но из-за тени, тенью не затроган,
Сиял и вился
Золотистый локон.

Из века в век,
Изо дня в день еси
Звучало «горько» на святой Руси.
Казалось бы, в обряде есть накладка,
Но хитр и мудр был древний драматург:
Кричали «горько», вышло ж вдруг
Не горько вовсе, а хмельно и сладко.
И то-то рады все,
Что губ слиянье
Не горечь принесло,
А лиц сиянье.

Всего пустяк,
Десятки лет назад
Неделю длился свадебный обряд,
Женились тоже не на две недели,
Те свадьбы было принято «играть»:
Ну, например, невесту выкупать,
Притворно плакать,
А как славно пели!

От свадеб тех —
Друзья, какая жалость! —
Нам только слово «горько» и осталось.

Теперь не то,
Но есть уже прогресс,
Есть бракосочетания дворцов,
Есть кольца, есть фата —
И все на сцене! —
Есть очередь на счастье, но, друзья,
Без очереди к счастью нам нельзя,
Иначе мы и счастья не оценим.
И есть еще для полноты обряда
Напутственное слово депутата.

Все это есть,
Но не о том рассказ.
Кричали «горько» уже третий раз.
И снова, улыбаясь благодарно
Ненстова хмелеющим гостям,
Жуан, устами падая к устам,
Затмил свою подругу планетарно.
Но это, не в пример минувшим теням,
Уже казалось
Солнечным затмением.

Здесь пировали,
Как заметил я,
Не дружки, а подружки и друзья,
Подружек было, как березок в роще,
Средь них, смешливых,
С тягой поболтать,
Невестина главенствовала мать,
В дальнейшем именуемая тещей,
Хоть и была она крупней и строже,
Но все же мать и дочка
Были схожи.

Даю совет
В предсвадебные дни:
Нашел невесту, тещу погляди —
И счастлив будь, когда души не ранил.
Иной зятек ее скорей бы с глаз,
Нам теща — преждевременный рассказ
О том, какой жена однажды станет.
В смотринах мамы весь сюжет невестин:
Начало смутно,
А конец известен.

Должно, посватал
В доброе число,
Жуану и на тещу повезло.
Она была, и не среди юных токмо,
Простите, что делюсь ее словом,
Осанкою, внушительным лицом —
Раскольница, не скованная догмой.
Бысть такова, смотревшая сугревно,
Жуана теща,
Марфа Тимофевна.

Еще скажу,
Пока помехи нету,
Два слова в дополнение к портрету.
Друзья мои, представьте тот портрет
В обветренной базальтовой скульптуре
И повторите в мраморной фактуре,
Отбросив ровно половину лет,
Тогда второе из творений ваших
Точь-в-точь и будет
Дочкою Наташей.

На шумной свадьбе —
Вот-вот-вот жена! —
Была Наташа вся напряжена.
Глаза ее то стыли в стыни стуж,
То таяли от тайного желанья,

То снова гасли в муках ожидания
Минут, когда ей мужем станет муж,
Что ж, девушка всерьез
Тогда родится,
Когда супругу
Замужем годится.

А что Жуан?
Из родичей его
На свадьбе я не встретил никого.
Да, да, они отсутствовали все:
Де Молино, затеявший игрушки,
Мольер, лорд Байрон, женоверец Пушкин,
А также худосочный Мюссе.
Их не было при нем
В отцовском чине
По очень уважительной причине.

Зато друзей —
Совсем наоборот,—
Их было, так сказать, невпроворот,
Но многие молчали как-то странно,
Так, будто личный понесли урон,
Как на поминках, после похорон
Великого, бессмертного Жуана.
Я тоже был в друзьях его, а впрочем,
Хотя и друг,
Но вроде бы и отчим.

Тяжелый крест!
Скажу, из жизни зная,
У отчима обязанность двойная.
Чем пасынка родитель был знатней,
Тем неизбежней между ними стычки.
Отцам не мед,
А пасынка привычки
Для отчима и в сотню раз трудней.
Он должен знать, что в пасынке участь
Не горе принесет тому,
А счастье.

Но это к слову.
Как же в самом деле
Не рассказать, что пили и что ели.
Вот раньше то-то были мастаки
По описанию разносолов разных:
Грибков, и огурков, и рыбин красных,
А нынче хватит и одной строки.
Нашлась бы рифма,
Если бы, как яство,
Муксун и нельма
Выставились на стол.

Однако были
Из большой реки
Поджаренные в масле окуньки,
Ершишки были в огненном томате
И заливная щука там была.
А вот стерлядка мимо проплыла,
Хоть нет ее, но вы не унывайте.
В утратах века
Стерляди скелетик
Найдут потомки
Через пять столетий.

Друзья мои,
Товарищи родные,
К чему теперь претензии смешные!
С тех пор как люди сделались людьми,
Они все ели с радостью до пляса.
А может быть, ихтиозавра мясо
Вкусней всего, что было,
Но ведь мы
Не просим нынче,
Не попросим завтра
Жаркое из филе ихтиозавра.

Друзья мои,
На нашей кухне русской
Еще нашлась нам добрая закуска.
Не воду пили, чтоб галушки есть,
Нет, было блюдо к чести ресторана,
Которое и тонкостям гурмана
Во время свадьбы оказало честь:
Дымились в чашах,
Полные томлений,
Домашние сибирские пельмени.

Они вкуснейши
Сами по себе,
Наивкуснейши по одной судьбе.
Я их не ел — блаженствовал, вкушая,
Я праздновал на празднике еды,
Хвалил их между тем на все лады,
Соседям по столу напоминая,
Что на мешке
Мороженых пельменей
Родился знаменитый Менделеев.

Пельмени.
Оо!..
Но те превыше слов,
Когда берется мясо трех сортов:
От нетели, от свинки и овечки.
Его бы все ж не мясорубкой мять,
Так мясо может соки потерять,
А изрубить с лучком
В корытце сечкой,
Поперчить, посолить, потом слегка
Для сочности добавить молока.

В моей Сибири
С добрым знаком плюс
Мы ценим их за вид, потом за вкус.
Есть крайнее из самых высших мнений,
Да буду я за дерзость несудим:
Один едим, а на втором сидим —
Вот это настоящие пельмени!
Сейчас, когда пишу я эти строки,
Во мне кипят
Желудочные соки.

На свадьбах,
Когда сыт и весел гость,
Он заговяет песню. Так велось.
Как теща бы сказала,— «а теперья»
На свадьбе, юбилее ли каком,
Как будто на активе заводском,
Звучат все больше пламенные речи.
Их начинают, связывая ярко
С глубинным смыслом
Своего подарка.

На этот раз
Торговый недодел
Речам глубинным положил предел.
Поскольку в уголке в виде стопок
Стояло и лежало на виду,
Довольно дефицитных в том году,
Пять схожих чаш и десять сковородок,
Да прислонилась к меди самовара
Добытая в столице
Мной гитара.

На смену той,
Игравшей на пзнос,
Жуану я подарок преподнес.
Тог взял гитару, вняв желаньям нашим,
Чтобы она свой голос подала,
Чуть отступив от тесного стола
С поклоном легким в сторону Наташи,
Тряхнул рукой, куда-то глядя вчуже,
Как будто бросил наземь
Горсть жемчужин:

«Радость,
Нежность
И тоска,
Чувств нахлынувших сумятица.
Ты — как солнце между скал,
Не пройти и не попятиться.

На тебе
Такой наряд —
Сердце вон за поглядение.
Ты светла, как водопад,
С дрожью,
С ужасом падения.

Ты загадочна,
Как Русь,
Ты и боль и врачевание.
Я не скоро разберусь,
В чем твое очарование».

Похлопали певцу,
А там уж в зале
Затанцевали, буйно заплясали,
Но строгий строй моих иных октав
Для описанья плясок не годится.
Тут я решил со свадьбы удалиться,
Молодоженам должное воздав.
Виктрола повторяла неустанно
Разнеженный мотив:
«О, Марианна!»

«О, Марианна!» —
Слышал сквозь снега,
«О, Марианна!» — как издалека.
Неведома,
Незрима,
Но желанна,
Смущая ум и сердце горяча,
Бог весть какая и черт знает чья,
Терзала мне мой мозг «о, Марианна!».
Пустой мотив любовного страданья
Стал для меня
Мотивом мирозданья.

Таинствен мир
В своей надземной выси,
Его звезда, летящая в капризе.
Сто раз благодарю отца и мать
За то, что молодыми повстречались,
За то, что встретились и не расстались,
За то, что мир мне дали повидать,
Где есть следы моей судьбы рабочей,
Где есть любовь
И тайна брачной ночи.

Вся жизнь нам тайна,
Но тебе, поэт,
Доступно все, что требует сюжет.
Не глядя в щель,
Не прячась за гардину,
Услышав только фразу или две,
Как древних див по косточке — Кьюбе,
Ты воссоздашь правдивую картину.
Да не смутит тебя других услада,
Где такт и мера есть,
Стыда не надо.

В делах квартирных
До сих пор упорны
Поборники системы коридорной.
Им нравится в ней буча и шумиха.
Замысловатый коллективный лад.
Жуан привел жену,
Жуан был рад,
Что поздно было и довольно тихо.
Но как назло, от нетерпенья стало,
В замочной щелке
Что-то задало.

На площади
Житейского квадрата
Из благ семейных было небогато:
Кровать, да стол, да этажерка книг,
Чертежная доска с бумагой белой.
Но тут Наташа тотчас усмотрела
Невиданного цвета алый крик.
То нагло цвел,
Презрев наш грозный градус,
На подоконнике заморский кактус.

Она — к нему,
Желая за цветеньем
Укрыть свое стыдливое волнение,
Но и над цветом думала о том,
Что неизбежное, оно, конечно,
Уже должно случиться неизбежно,
А лучше бы потом, потом, потом...
И мучилась, придерживая сердце:
«Разденет сам
Или самой раздеться?»

Рука Жуана,
Добрая рука,
Была на раздевание легка,
Она в подходе тайнами владела.
Вот, скажем, буря стань озоровать,
Ей все равно одежду не сорвать,
А солнышко согрело и раздело.
Явились вдруг, поставленные косо,
Сибирской пальмы
Белые кокосы.

— Наташа! —
Восхищенье и восторг
Так, только так и выразить он смог,
Когда же заиграли светотени,
Сбега за сорочкой, и когда
Открылись бедра, словом — красота,
Хотел упасть пред нею на колени,
Но лишь — Наташа! — снова прозвнес,
Взял на руки Наташу
И понес...

Забавно, право!
Это же ведь казус,
Что цвел так нежно
Мексиканский кактус.
На вид он непригляден и жесток,
На нем колочки, каждая — как лучик,
И вот среди гаких лучеколочек
Родился удивительный цветок,
Подобный колокольчику, в котором
Почти что слышен звон
О счастье сном.

Как откровенье,
Как любви призыв,
Был цвет его особенно красив,
Красивей роз, красивее пионов.
Все кактусы, цветущие вот так,
Как слышал я, выхаживать мастак
Не кто-нибудь, а Леонид Леонов,
А он, мы знаем, добрым делом занят
И пустыжков выхаживать
Не станет.

Признаюсь запоздало,
Что уж тут,
Я сам не знал, что кактусы цветут,
Зато читал, и это даже лестно
Для кактуса, не бывшего в чести,
Что надо бы его нам завести
В пустынное, засухливое место.
И не было б, писали, выше дара
Чем этот сочный кактус
Для отары.

Я верил в мудрость
Этого проекта,
Пока огнистого не встретил цвета
И не представил радость поселян,
Глазеющих, как на пустынном поле,
Наукой возрожденном к лучшей доле,
Сей милый цвет жует себе баран,
Питается безводно и бестравно
Таким цветком.
Не правда ли, забавно?

А все — мой такт,
Заставил все же такт
Писать меня о кактусе трактат,
Пока Жуан в своем стремлении лучшем
Нагашу в ее прелести земной
Не сделал настоящею женой,
А сам не стал ей полномерным мужем.
Она уже, смахнув с лица слезинку,
К себе тянула
Белую простынку.

Все жены любят,
Хоть не говорят,
Когда их за любовь благодарят.
Жуан отрадно в бережном наклоне
И целовал и взгляд жены ловил,
Ласкал ей груди, словно бы кормил
Два жадных клюва с ласковой ладони,
Дивился втайне, что дитя Сибири
Вело себя
Как женщины Севильи.

Мужчины все,
Чем более грешны,
Тем больше и в желаниях смешны.
Чтобы жена была и не тиха,
Но отвечала нормам идеала,
Чтоб знала все и ничего не знала,
Чтоб, согрешив, не ведала греха.
Уж не на этой ли душевной кривизне
Родился миф
Безгрешности Марии?

В делах любви,
В игре огней и стуж
Взывают часто к родственным душ.
Неправда это, здесь нужна полярность,
Здесь нужен тот особенный магнит,
Который тем вернее породнит,
Чем больше нежность и сильнее ярость,
Но гаснет страсть,
Когда за общим плугом
Жена и муж становаются
Друг другом.

Все это так,
Но не о том же речь,
Чтобы душой влюбленной пренебречь.
Кто любит только телом, счастье губит,
Меж ними не должно быть дележа.
Как долго любит верная душа,
Как жаростно, но кратко тело любит.
И все же, если тело устаает,
Душа — не жди,
На помощь не придет.

Прекрасна ночь,
А женщина прелестна,
Когда и ранним утром с ней не тесно.
Бывает же, на мир и на уют
Не все в такую ночь сдают экзамен:
Ложатся спать хорошими друзьями,
Врагами молчаливыми встают.
У наших же супругов без печали
Все было так,
Как сказано вначале.

Уже пришла пора
Другим вставать,
А новобрачным было впору спать.
Но вот к полудню, жалуясь на сердце,
Явилась геща чуть ли не бегом
С еще горячим рыбным пирогом,
Завернутым от стужи в полотенце,
Оценочно прищурилась с порога
И подвела итог:
«Ну слава богу!»

Очаг семейный —
Добрый костерок,
В потемках жизни разведенный впрок,
Заблудшему дающий направление.
И я себя погрел у костерка,
И мне того досталось пирога
Да беляшкой к нему — для вдохновенья,
Чтоб их поздравил, также и себя.
Итак, свершилось.
Родилась семья!

Из всех проблем,
Из всех больших идей
Семьи идея мне всего милей.
Все дело в том, что изо всех историй,
Прощитых кровью по живой канве,
Из многих философских категорий
Главнейшими считают только две.
На первом месте в роли верховода
Есть отношенья:
Люди и природа,

А на втором
Из категорий вечных,
Из отношений чисто человеческих,
Дающих вездесущей жизни ход,
Рождующих и радость, и кручины,
Есть отношенья женщины с мужчиной,
А можно говорить наоборот.
Все остальное, если вам угодно,
От этих отношений производно.

И даже то,
Что люди страстно бьются
Оружием мятежей и революций,
Прозрев любви зарю в кромешной тьме.
Ах, сколько в расприх от огня и стали
С мечтою о грядущем погибали,
Душою апеллируя к семье!
Сам Энгельс относил,
Свергая царства,
Вопрос семьи
К вопросам государства.

Но вот беда,
Читатели упрямы,
Им подавай трагедии и драмы.
А где их взять?
Не просто же возвесть
До ранга драм скандальчики соседей.
В том и трагедия, что нет трагедий,
Хоть жертв любви вокруг не перечеть.
Влюбленные все больше с каждым годом
От всяких драм
Спасаются разводом.

Зато Жуан,
Пусть будут хоть напасти,
Сжег все мосты на переправах страсти.
Теперь он только одного хотел
Хотением души, хотением тела,
Чтобы одна Наташа им владела,
Чтоб только он Наташею владел.
Но вознесенная до неба верность
В нем слишком скоро
Возбудила ревность.

О, ревность,
Неподвластная уму,
Она легко ревнует ко всему.
Вот пошутил сосед довольно плоско,
На шуточку ответить бы гремя,
Но ревности холодная змея
Уже ползет извилинами мозга
И, ясному сознанию вопреки,
Прочерчивает адовы круги.

Он ждет ее
С лицом белее стенки,
Чтоб заглянуть в обманчивые зенки,
Чтоб взглядом взгляд сурово повстречать,
Чтоб на лице, невиннейшем когда-то,
Холодного, постыдного разврата
Увидеть потаенную печать.
Но вот пришла и ахнула канашка:
— Ах, Жуня!..
Ты не ужинал, бедняжка!..

О, женщина!
Соблазнами красот
Она и бога с неба низведет
И смертным его сделает, шалуню.
Ах, до чего жесток любви полон!
Был Дон-Жуаном.
Был Жуаном он,
Теперь же для Наташи просто Жуня!
Счастливым дар людей — воображенье
Во всем, ревнуя,
Видит униженье.

Меж тем Наташа,
Хлопоча о муже,
Проворить стала небогатый ужин.
Жуан остановил ее:
— Постой!.. —
Наташа обернулась удивленно,
Наташа улыбнулась так влюбленно,
С такою откровенной чистотой,
Что мой Жуан, стыдясь за окрик грубый,
Стал целовать Наташу
Страстно в губы.

В Америке
Для сердца и души
Давно изобретен детектор лжи,
Довольно хитроумная машинка,
Через которую с вопросом — вдруг:
— Ну-с, изменила? —
Ревностный супруг
Ложь узнает жены и даже лжинок.
У нас же без детекторов со спросом
Еще в ходу
Проверки древний способ.

Итак, Жуан
Любимую жену
На женскую невинность и вину
Так проверял, как проверял бы предок.
Ну, словом, чтобы все наверняка,
Ласкал все упоительней, пока
Миллионы и миллиарды нервных клеток,
Восторга обладанья не тая,
Не крикнули:
Моя!
Моя!!
Моя!!!

Он пил и пил,
Казалось бы до дна,
А огненная чаша все полна,
Хотя Наташа и глядела в оба:
— Ты, милый мой Жуанчик, нервным стал,
Вчера всю ночь курил, почти не спал,

Взять отпуск бы тебе да на курорт бы.
— Сейчас не время..
— Все тебе помеха,
Вон Федоров
Опять на юг уехал!

Вот так,
Супруга дружески браня,
Она заговорила про меня.
— Тот к морю, а попросишь ты — оттяжка,
Ну как же так выходит, не пойму?..
— Он сочиняет что-то, вот ему
Поэтому и делают поблажки. —
Наташа смолкла и — почти впопыхай:
— Ты с ним о нас
Не очень-то болтай!..

Не знаю сам,
Из множества чудачеств,
Каких она моих боялась качеств?
Одно скажу, я человек с ленцой,
Зато иной, загоношив поэму,
Свирепым львом наскочит на проблему
И убежит испуганной овцой.
А я хоть и ленив, но тем хороший,
Что если ноша,
Не бегу от ноши.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Хороший муж, как правило, ревнив,
Но часто ошибается предметом.

Байрон, «Дон-Жуан»

Привет тебе, о море,
Мне родное,
Сегодня ты, как я, совсем седое.
Девятый вал багрянит свой венец,
От гелиозакага набегая.
Я гимны, море, для тебя слагаю,
Но, море, море, я не твой певец.
Встречай меня, как прежде, не шутя,
О океана шумное дитя!

Шуми, шуми!
Мои земные думы
Расстраивали северные шумы,
А ты шуми, а ты о берег бей.
Да, я устал, не буду лицемерить,
Да, я пришел к тебе тобой измерить
Всю косность и всю суетность людей.
С тобой видней, как часто мелковата
Их славных сил
Бессмысленная трага.

Враг суеты,
Недаром в добром строе
Я выбрал многовечного героя.
Не потому, что не о ком сказать
И не на чем придумать новой сказки.
В нем есть урок,
Он давние завязки
В себе самом не может развязать.
Жуан для нас имеет то значение:
Что в нас мало,
В нем — преувеличенье.

Из многих тайн
Супружеского быта
Природа ревности не вся раскрыта,
А в ней найдутся добрые черты,
В ней есть и благородные начала,
Чтобы жена, к примеру, отвечала
Душевному идеалам красоты:
Не то чтоб плавать

Ангельским виденьем,
Но отличаться строгим поведением.

Наташа Кузьмина
Не виновата,
Что были с нею все запанибрата.
— Наташка, эй!.. —
Пора, пора в утиль
Вот згот легонький, простецкий, свойский
И псевдопроф, и псевдомкомсомольский
И прочих псевдо грубоватый стиль.
Мне Пушкин по душе,
Сказавший здраво:
«Прекрасное должно быть величаво».

Но я и не за то,
Чтобы супруга
Вся столбенела, словно от испуга,
Чтоб муженька держала за рукав,
Чтоб говорила, что намного хуже,
Все с мужем, все о муже и о муже.
Нет, все-таки Жуан был в чем-то прав,
Когда просил, чтоб мужем, как бывало,
Жена нигде
Его не называла.

Тут что-то есть.
Иллюзией свободы
Хотел он снять моральные заботы,
Ответственность душевную с себя.
Для объяснения болезни кровной
Врачи теперь идут от родословной,
По их рецепту поступлю и я.
Болезни и отжившие идеи
На расстоянии всегда виднее.

В Испании,
Где благодать оливам,
Родился он, как все, уже ревнивым,
Но выручила страсть, любовь, нитим,
Еще точнее — женщины перемены:
Меняя, он не знал себе измены,
Любая изменяла только с ним,
А муж бывал до рокового часа
Измен жены
Ходячею сберкассой.

В нем ревность
Замолкала, как дракон,
Которому бросал красавиц он.
А сколько здесь напущено тумана,
Тогда как вот как возникал и гас
В душе его, в других, потом и в нас
Довольно сложный комплекс Дон-Жуана,
Когда пороки управляют нами.
Мы ж думаем,
Что управляем сами.

До встречи с Натой,
Головы кружа,
Нестойкая Жуанова душа
Вела себя как добрая простушка:
Влюбленно льстила, искренне глала,
Короче, суетилась, как могла,
У тела своего на побегушках,
Пока не взял в стеснительные клещи
Закон несовместимости
Двух женщин.

Согласно сути
Этого закона
Влюбленный жаждет вечного полона,
Любви и поклоненья не на час.
Проснулась совесть в нашем ловеласе,
Как в школьнике,
Застрявшем в первом классе,

Менявшем только школы, а не класс.
Вот почему Жуан уже без чванства
Избрал для сердца
Подвиг постоянства.

Ляпился он
Всех вычурных манер,
Являя удивительный пример
Поборника таких высоких качеств,
В которых был когда-то очень слаб,
Теперь не пил, чужих не трогал баб,
Но в этом, кстати, не было чудачеств,
Все страстные натуры год от года
В себе самих
Рождают антипода.

Продолжу песнь
Без лишних аллегорий.
Жуан бы пережил такое горе,
Когда бы всё,
Что,
Перьями скрипя,
О нем не написали без смущений,
Он сам во всех деталях обобщений
Теперь не опрокинул на себя.
Вопстину, как говорит Писанье:
От больших знаний
Большее страданье.

Он помнил все,
Как роль свою артист,
Как партию великий шахматист,
Одной лишь скромной пешки продвиженье,
Противного кося ответный скок,
Жуан уже среди множества дорог
Всей партии предвидел продолженье,
Припоминая прошлое к примеру:
«Да, так вот соблазнял я
По Мольеру!»

Пусть шахматы
И древняя идея,
Игра любви во много раз древнее.
Хоть и хитер бывает ход конем,
В игре любви ходы замысловатей.
Играть случалось
Даже в женском платье,
Как ни смешно, жуанил он и в нем,
Когда его — по Байрону — в серале
Наложницы султана соблазняли.

Я думал,
Что Жуана в первый год
Лишь собственная ревность подведет.
Она одна была в моем прогнозе,
Возможная, как прошлого урок,
Не страшная, как легкий ветерок,
Дающий горделивость нежной розе,
Но я не мыслил, занятый романом,
Что легкий ветер
Станет ураганом.

Сначала солнце
С примесью багряной
Заволоклося пеленой туманной,
Вскипело море кипятком крутым,
Да так, что волны с тучами смешались,
Да так, что даже чайки не решались
Четыре темных дня летать над ним.
Душа моя покрылась тоже мраком,
Что для сюжета стало
Грозным знаком.

Четыре дня
Сквозь роковую хлябь
Мне одинокий выделял корабль,

Я слышал вопль:
«Спасите наши души!»—
И все смолкало в мрачном гуле гроз.
На пятый день сигнал тревожный «SOS»
Не с моря прилетел ко мне, а с суши,
Где, видно, свой пронесся ураган:
«Наташа потерялась,
Твой Жуан».

Я горе
Морем измерять хотел,
Я думал, море — мерам всем предел,
Но море все же людям покорялось,
Хотя урон и от него велик,
Но чем измерить мне тревожный крик
Души живой: «Наташа потерялась»?
Теперь я знал, что есть для поморян
За морем горя
Муки океан.

Я думал о Наташе и Жуане,
Уже плывя в небесном океане.
С покачиваньем,
С дрожью плоскостей
Наш славный Ту-154,
Казалось, плыл в каком-то новом мире,
Освобожденный от земных страстей.
Не потому ль привыкшие к высотам
Бывают холодны
К земным заботам?

Как хороши,
Похожие на наши,
Высокие небесные пейзажи.
Видна лыжня, бегущая ко дню...
Кто ж тот безумец,
Для земли безвестный,
Вот в этой беспредельности небесной
Пробивший одинокую лыжню?
Пастух ли, отгонявший зверя злого,
Или гонец
Пророческого слова?

Хотел бы знать,
Где раньше все явилось:
Взошло ли от земли
Иль к ней спустилось?
Здесь каждый миг родит пейзаж жпвой,
Как будто не домой летим, а вдаль мы:
Далекой Кубы голубые пальмы
Приветливо качают головой.
Небесные пейзажи над планетой
Блуждают,
Как бродячие сюжеты,

А на табло
Сигнальные огни
Уже сигналият: «Пристегнуть ремни!»
На всякий случай, если будет встряска,
Чтоб с кресла не взлететь и не упасть,
Земля опять берет над нами власть.
Пусть небеса — и в них земли привязка,
Как в старой вышке с лямкой и крюком,
Подвешенной
Под низким потолком,

Вновь препоясан
Тяжестью земной:
Так что же, что с Жуановой женой?
Я горько плачу...
Милые, доверьтесь
Моим слезам над выдумкой моей.
Нет, выдумайте собственных детей,
Жените плохо, а потом и смейтесь!
Не до игры, сама игра порой,
Дойдя до слез,
Не кажется игрой.

Вот и земля.
О, как она трясет,
Должно, в отместку за покой высот.
Не тратясь на случайные заметы,
Спешу в такси, оглохший от гудьбы,
К Жуану... По прони судьбы,
Покойное стояло «бабье лето»,
И странно было, что в таком покое
Могло случиться
Что-нибудь плохое.

Жуана не было.
Сутуля плечи,
Я проискал его весь день и вечер,
Прошел цеха и дома этажи,
Не обнаружив прежних связей звенья.
Как жутко мне людей исчезновенье,
Как будто долго видел миражи.
С тем большим утверждением,
С большим пылом
Твержу о бывшем:
Было!
Было!!
Было!!!

Болея болью
Друга моего,
К печали чуткий, я нашел его.
Нашел чутьем в себе почти зверным,
Ослабшим в людях по нехватке сил.
В ответ на нюх и мысленный посыл
Душком повеяло сугубо винным,
И я пошел с решимостью тарана
На этот смутный
Запах ресторана.

Жуан был там,
Сидел на месте том,
Когда снял за свадебным столом.
Казалось, что не он сидит, а мрак
Качается, за этот стол воссевши.
Какая грусть!.. Испанец обрусевший
Пил горькую, как истинный русак,
Припав к стакану, друг на скользком дне
Искал все ту же
Истину в вине.

Он пил жестоко,
Даже слишком грубо,
Пил без закуски, стискивая зубы,
А я глядел, не смея помешать,
А я молчал, подвластный не капризу.
Лунатика, что бродит по карнизу,
В такой момент не надо окликать.
Случается, заботливость не в пору
Лишь вышибает
Из-под ног опору.

Нет, пьяница не тот,
Кто к рюмке льнет.
А тот, кто криво морщится, но пьет,
А выпив, и ругнет.
— По этой части
Ты сам мастак, — съязвила бы жена,
Да, милая, сгорают от вина,
А более сгорают от несчастья.
Что пьянство — злой порок,
Ни с кем не спорю,
Зато оно и равновесье горю.

Строг моралист,
Он судит всех прямой,
На этот счет философы добрей.
Когда-то Герцен с болью признавался,
И здесь его признания важны,
Что долго после гибели жены

Он этому пороку предавался.
А между прочим, как и в песне нашей,
Его любимая
Звалась Наташей.

— Пей, пей, Жуан!
Пусть водка оглушит,
Пожар несчастья пусть в тебе потушит!.. —
Однако пить Жуан не захотел,
А, глядя мимо взглядом напряженным,
Казалось бы от мира отрешенным,
Он странно улыбнулся и запел.
Пел тихо на мотив довольно старый,
Пел просто так, для сердца,
Без гитары:

«Мое сердце, молчи,
Как молчат в одинокой квартире,
Как вода подо льдами Оби.
Мы с тобою в суровой Сибири
Без надежд и любви,
Без надежд и любви,
Без надежд и любви в этом мире,
Без любви.

Мое сердце, молчи,
Не стучи, все равно ниоткуда
Нам хороших не ждать новостей.
Нам осталась метелей остуда
На последней версте,
На последней версте,
Той версте, где кончается чудо,
Той версте.

Мое сердце, молчи,
Мы с тобою теперь одиночки,
Мы с тобой совершенно одни,
Те, что близкими были, далеки.
Ты мне счастье верни,
Ты мне счастье верни,
Все верни: и мольбы и упреки,
Все верни...»

Все выпивохи,
Будучи не глухи,
Вдруг загудели, как мясные мухи.
Прилипчивей репья к чужой беде,
Подсел к Жуану с мимикой приветной
Какой-то чужеродный, чужеодный
Витля с хлебной крошкой в бороде.
Когда дела у человека плохи,
А деньги есть,
К нему спешат прохожи.

Для пьянства
Независимо от чина,
Должно быть, есть какие-то причины.
И этот бородатый с «хи-хи-хи»,
С готовою слезой, блеснувшей кетати,
Решил восполнить разницу в зарплате,
Пониженный по службе за грехи.
Тут я рванулся.
— Отойди, приятель!.. —
И спас Жуана от его объятий.

Почти бессмысленно,
Темно и криво
Тот на меня смотрел, как с негатива,
Но, скованный каким-то мрачным сном,
Как в прояснителе, вдруг стал меняться,
Знакомыми чертами проявляться,
Умнеть глазами и светлеть лицом,
И наконец, утратив взгляд остылый,
Узнал и оживился.
— Вася!.. Милый!..

Скорбя душой
О без вести пропавшей,
Его спросил я:
— Что, скажи, с Наташей?
— Черт знает что, увел какой-то хлюст!.. —
Он говорил, спеша и заикаясь,
Горячими словами обжигаясь,
Как бы спеша их выбросить из уст.
— ¡ Zeiablos! —
Закричал он в гневной краске, —
¡ Maldita sea! —
Видно, по-испански,

Не странно ли,
До этого момента
Он говорил по-русски без акцента,
Как будто не пришел издалека,
Теперь же с подозрением предательств
В минуту гнева для простых ругательств
Чужого не хватило языка.
Так в каждом при смятении душевном
Рассудок в силах
Уступает генам.

Мне стало стыдно.
С Музой поневоле
Мы оказались в своднической роли.
Мне сводники всех рангов и мастей,
Всех побуждений стали вдруг постылы.
В них, в каждом, что-то от нечистой силы,
Играющей соблазнами людей.
Так Мефистофель, дьявол знаменитый,
Свел Фауста
С невинной Маргаритой,

А мы, наоборот,
Жуану в милость
Подсунули коварную невинность.
Не ревность ли его была виной?
Одно лишь подозрение бесстыдства
Внушает нашим женам любопытство,
— Ты ревновал?
— Не больше, чем любой. —
Он говорил и долго и невнятно,
Я ж расскажу короче,
Но понятно.

События сразу
Наступили грозно:
Она домой пришла позорно поздно,
Не бросилась к своим вчерашним щам,
Не стала объясняться даже в мале,
Казалось, что все вещи ей мешали,
Что и она мешала всем вещам,
И самое печальное при этом,
Решила спать не рядом,
А валетом.

Как спать валетом,
Даже нет вопросов,
Но это же не самый лучший способ.
Читатель, сам представь и сам суди:
Будь ее ноги красотой лоний,
Ну, скажем, даже ножками богини,
Муж их не станет прижимать к груди.
При сне таком по правлам, как малость,
Нельзя брыкаться,
А она брыкалась,

Проснувшись
И вздыхая то и дело,
Наташа на Жуана не глядела.
С печальными глазами, как в дыму,
Сказала каждодневными словами,
Что вечером зайдет на время к маме.
Должно, зашла, но не пришла к нему.

Супруг прождал один в своей квартире
И час,
И два,
И три,
И все четыре...

И ворвались сомненья,
Все круша,
И дрогнула Жуанова душа.
Душа?.. Да не душа — сплошная рана,
Как будто, потоптавшись на меже,
Всю ночь скакали по его душе
Копытистые кони Чингисхана.
В ней, как в степи,
Где прежде цвел ковыль,
Лишь оседала пепельная пыль.

Как призрак
Катастрофы немпнучей,
На горизонте за клубились тучи.
Пугает нас не молнии излом,
Не огне-гневное ее сверканье,
Мучительней бывает ожиданье
Того момента, когда грянет гром.
Жуан и на заводе не воспрянул:
Жены там не было,
Но гром не грянул.

Коль сразу не убьет,
Мечта живет,
Что гром еще далек и не убьет.
Друг — к теще.
Нет и там.
Мамаша гневно
Свяла с него допрос:
— Дошли до драк?
— Нет, нет, мамаша!
— Тогда как же так?! —
Осатанилась Марфа Тимофевна,
Сказала грозно, тут же одеваюсь:
— Пусть будет хоть в земле,
А докопаюсь!..

Самим собою,
Строже, чем судом,
Он был судим позором и стыдом,
Таким стыдом, что людям и не снится,
И как уже бывало много раз
В его проклятом прошлом, он сейчас
Готов был хоть сквозь землю провалиться,
Но, вынося все тяготы позора,
Не находил бедняга командора.

Опять Жуана,
Как холостяка,
Встречал тот кактус,
Только без цветка,
Опять варил он ячневую кашу,
Картошку — пионеров идеал,
Уныло ел и ненасытно ждал —
Хотя бы тещу, если не Наташу.
Вот ночь уже четвертая настала,
Жуан гулял,
А теща все «копала».

Ушла?!
Уйти — дивились все кругом,—
Когда был муж уже под башмаком?!
Нет, что-то тут не так.
Когда б хотела
Наташа власти, а борьба за власть,
Допустим, ей, Наташе, не далась
Иль не совсем далась — другое дело,
Иначе бы с какой такой ноги
Он мягкие
Купил ей башмаки?

По-своему
И образно и метко
Судачила экономист-соседка:
— Клянусь, ушла Наташа не со зла,
Корысти в этом нет,— и намекала,
Что в той от вложенного капитала
Прибавочная стоимость росла..
— Недаром в прошлый месяц с середины
Ее заприхотило
На маслины.

В поэзии
Нас ждут за рифом риф:
В поэму плыл, а выплыл в детектив.
Теперь он в моде, чуть не директивной,
Но я-то по нужде, впадая в риск,
Как ловкий сыщик, начал частный сыск
И вот стою на тропке детективной,
Зато на факты и события все
Имею я теперь свое досье.

А было так:
В тот вечер роковой,
Из цеха выйдя, Ната шла домой
По заводскому скверу.
Между прочим,
Терновника там рос высокий куст
С плодами, очень терпкими на вкус,
До коих прежде не была охоча.
Я думаю, у вас найдется сметка,
Чтоб вспомнить,
Как права была соседка.

Медовой меда
Со цветов долины
Теперь стал вкус ей северных маслин,
Она карманы ими набивала,
Она их ела, не кривясь ничуть,
Звенело тело, молодая грудь,
Как лет в пятнадцать,
Сладко поднывала,
Все было как во сне,
Легко и дивно,
А ягода чернела неизменно.

Красива женщина
В поре такой
Какою-то особой красотой.
Здесь кисть нужна, а не слова поэта,
Чтоб красками живыми передать,
Как на нее нисходит благодать
Высокого, небесного расцвета.
В природе все, что нам плоды рождает,
В свой мудрый срок
Сначала расцветает.

Спеша к супругу,
Собственным умом
Она еще не думала о том,
Что в ней пирует новой жизни завязь,
Еще не знала, что ее вот-вот
У многостворных заводских ворот
Подстережет расчелливая зависть.
Нет, мужа в мыслях
Нежно именуя,
Наташа миновала проходную.

За проходною,
Как из прошлых грез,
Перед Наташею предстал матрос
В щеголеватой куртке нараспашку;
Не то матрос, покинувший свой бриг,
Не то полуматрос-береговик,
Для форса выставляющий тельняшку.
Она его узнала без труда
И загорелась
Краскою стыда.

Чуть-чуть наигранно,
Расправя плечи,
Он взял под козырек.
— Какая встреча!.. —
Вы, верно, догадались, это тот,
Кто распрощался с нею, как с обузой,
Кого мы на своем Парнасе с Музой,
Творя сюжет, не приняли в расчет.
— Ну, здравствуй! —
И насмешливо-елейно,
Почти с издевкой:
— Как очаг семейный?

Сказать хотела
Из того расчета,
Что не ему теперь сводить бы счета,
Но почему-то недостало слов.
Обида втайне все еще терзала,
Она ожесточилась и сказала:
— Спасибо,
Хорошо.
Хватает дров.
А как твоя семья? — спросила смело
И на него впервые поглядела.

Стараясь скрыть
Обиду и укор,
Она глядела на него в упор,
А он стоял пред ней, как на параде,
И бравый и внушительный на вид,
Как будто весь единым слитком слит,
Пригож лицом и крепким телом ладен,
И лишь в глазах хитрившего матроса
Торчали два зрачка,
Как две занозы.

Ответил так,
Что холода ушат
Он вылил на нее.
— Я не женат!
— Как не женат?! —
Суровый голос Наты
На этом дрогнул.
— Ты же мне писал...
— Нет, просто я мешать тебе не стал,
Хотел избавиться от забытой клятвы,
Чтобы она игрушкой школьных дней
Не захламляла
Памяти твоей.

А помнишь ли,—
Продолжил с увлечением,—
В десятом мы писали сочиненье,
Твое в пример зачитывали нам,
В нем, не предвидя
Своих взглядов смену,
Ты осуждала черную измену
Любви и дружбе, слову и делам...
— К чему все это? —
Удивилась Ната. —
Ты мне нагнал —
И я же виновата?!

Спокойный,
Торжествующий почти,
Он подал ей письмо.
— Тогда прочти! —
Лишь только развернув листок несмело,
Лишь увидав распатанно-кривой
Знакомый почерк Надьки Луговой,
Наташа почему-то побледнела,
За ней следил с улыбкой злодея
Друг юности ее,
Вадим Гордеев.

Неужто был Вадим
Пастолько прав,

Что, смятого письма не дочитав,
Наташа зашаталась, стиснув зубы,
Упала бы, когда б ее Вадим
Не поддержал всем корпусом своим
И не довел до лавочки у клумбы,
Где до поры для розысков иных
Я с горьким чувством
И оставлю их.

Передо мной
Потрепанный весьма
Лежит оригинал того письма,
Что обожгло Наташино сердечко,
Ударило строкой, простой на вид:
«Твоя Наташка
Здесь всю *кадрит!*»
Какое новомодное словечко,
А говорят, что в области морали
Мы новых слов
Еще не создавали!

Есть люди,
Жаждающие для других
Такой же неудачи, как у них.
И вот одна такая,
Лишь нагнать бы,
Писала и в строке и между строк,
Что у Наташи есть уже и срок,
Сокрытно обозначенный для свадьбы,
Хотя Жуан в супружеском аспекте
В то время не был
Даже и в проекте.

Когда Вадим
Прочел все это, он
Был в гордости своей так уязвлен,
Что Нате дать отказ поторопился,
Чтобы не он стал первой жертвой зла,
Чтобы она покинутой слыла,
Но без большой любви
Женитьба вскачь
Принесит только
Время неудач.

Теперь и сам,
Попавший в бездорожье,
Намеренно смешал он правду с ложью,
Решив Наташу от семьи отбить.
Какое суетливое уродство —
Рядить себя в одежду благородства,
Не лучше ль просто благородным быть!
Что, трудно? А под ласковые речи
Быть негодяем,—
Разве ж это легче?

В беду попасть нетрудно,
Все труды
Лишь в том, чтоб с честью выйти из беды,
Вадим же бросил все свое старанье,
Чтобы внушить, что был не виноват,
Чем и принес ей горестный разлад
В жестоко потрясенное сознание.
Душа ее в трагическом циклоне
Металась в самой
Безысходной зоне.

Ей слово клятвы —
Не словесный хлам,
Она была хозяйкою словам,
В них голос сердца был и голос крови.
Ее учил учитель и поэт,
Что если слова нет, то жизни нет,
Все в этом мире держится на слове.
Без слова, умная и родясь,
Утратят люди
Всяческую связь.

Глупей всего
Ведут себя в осуде
Добру недоучившиеся люди.
Так и Наташа, чтоб в себе не пасть,
Глядела на Вадима той Наташей,
Как будто был он без вести пропавший
И вот вернулся, взяв над нею власть.
Иные скажут: «Цельная натура».
Натура — да,
Но дура, дура, дура!

Вадим ей лгал
И стал за слово люб,
А что бы его слово да на зуб,
Коль своему хороша хозяйка,
Ядро в любом орешке ли найдешь,
Вот так и в слове пребывает ложь,
Как за скорлупкой тухлая козявка.
Тут даже белка преподаст урок
Тем, что берет орех,
Лишь годный впрок.

Она ж решила,
Ты, читатель, знай,
С Вадимом улететь в Приморский край,
Бродила с ним.
— Тебе я верю, Вадик,
— Ну, наконец-то! —
Ночь была темна.
— А все же что-то страшно! — И она
Хваталась крепче за его бушлатик.
Не верь, не верь!
Но на пути порока
Красавицы не слушают пророков.

На свой позор,
Учи их, не учи,
Они легко летят, как из пращи.
Быть может, лишь одна из многих ста
Способна отворотиться от гордыни,
Зато ей, как библейской Магдалине,
На этот случай подавай Христа.
А нынче у безбожного поэта
Такого все же
Нет авторитета.

О, первая любовь —
Любовь любвей,
Манящий призрак юности твоей,
Неповторимый, памятный и милый.
Пусть та любовь до гроба греет грудь,
Пусть долго-долго светит, но не будь
Ты осквернителем ее могилы,
О, первая любовь!
Люби и славь,
В своей душе
Ей памятник поставь.

Забыл о ней —
Беда неотвратима.
Тем и страшна завистливость Вадима,
Что мстительность вдруг овладела им,
Когда узнал он, что его Наташа
За мирового вышла персонажа,
Что счастлива...
Как?! Счастлива с другим?!

И вот Вадим, когда-то друг-приятель,
Пришел к Наташе
Как гробокопатель,

Сюжет бы мне
По сердцу и уму,
А то уже противно самому
Описывать все эти шуры-муры,
Которые особенно низки,
Особенно постыдны и мерзки

На общем фоне мировой культуры,
В том нет любви,
Нет мужества и чести,
Кто женщину берет
Из чувства мести.

Уже не той,
Высокой и прямой,
Пришла Наташа в эту ночь домой.
Сначала мысль в сознание копошилась,
Что надо бы не подличать, не лгать,
А напрямик Жуану все сказать,
Но почему-то сразу не решилась.
Ей стало тяжело и в постели тесно,
Ну, остальное
Вам пока известно.

Мужчине,
Даже с вывертом блаженным,
Всего страшнее выглядеть смешным.
Храня свое достоинство мужчины,
Жуан свою жену искать не стал
(Куда пойдешь?), к тому же и не знал
Ее ухода истинной причины.
Но теща, как причина ни скрывалась,
Два дня «копала»,
Все же докопалась.

Она в два дня
Успешно провела
Всю операцию под шифром «А»,
Что означало — поиски Амура.
Всех обходя Наташиных подруг,
Сжимала Марфа Тимофевна круг
Неумолимее, чем агент МУРа,
Пока не повстречалась роковая
Та кляузница
Надька Луговая,

Злодейка
Из резерва старых дев
Не выдержала Тимофевны гнев,
К тому ж раскаяньем руководима,
Что две любви пустила под откос,
Теперь, не пожалев ни слов, ни слез,
Все рассказала Марфе про Вадима.
У той из грозно дышащей груди
Одно лишь слово вырвалось:
— Веди!..

На длинный путь,
На сложные зигзаги
Боюсь потратить лишней я бумаги.
В издательствах над нею — ох да ах,
Мол, держится недостаток на привозе,
Хоть экономят не на толстой прозе,
А как всегда и всюду — на стихах.
Пусть торжествует принцип эконома:
Они пришли,
Они уже у дома.

Среди таких же,
Найденный с трудом,
То был обычный поселковый дом,
С обычной деревянной голубятней.
Тут Надька, осторожная, как зверь,
Кивнула указующе на дверь:
— Они вот здесь! —
И сразу на попятный.
Послушав, как воркуют сизари,
Метнулась Тимофевна
Ко двери.

Она в те двери
Ворвалась без стука,
И первым словом было слово «сука!»),

— А ты щенок!.. —
Раздался треск, и вот
В одних трусах в сопровожденье шума
Вадим из дома, словно как из трюма,
Вдруг выскочил и полетел за борт,
Вослед — буплат,
Два грохнувших ботинка,
Тельняшка, брюки клеш
И бескозырка.

Ища одежду,
— Черт ее принес! —
Серчал обескураженный матрос,
Себя отдавший слишком бурным водам.
— Ну, ведьма, ведьма! — повторял со зла,
Поскольку ведал, как она грозна,
Еще по безмятежным школьным годам.
А перед тем, кого боялся смладу,
У льва и то
Со страхом нету сладу.

Тем временем,
Изгнав Вадима прочь,
Трепала Марфа Тимофевна дочь,
Пол подметала бедною Наташей,
И за большим грехом ее измен
Еще не замечала перемен:
Ни губ припухших,
Ни груди набрякшей,
Но ахнула и выпустила Нату.
— Да ты же, окаянная, брюхата!

И мать запричитала.
В причитанье
Звучал ее упрек в непочитанье
Ни матери,
Ни мужа,
Ни родни.
Тут и Наташа всхлипнула в подмогу,
И вот уже помалу-понемногу
Слезой к слезе заплакали они.
Теперь, закончив поиска задачу,
Я их оставлю,
Пусть себе поплачут.

Безмолвная свидетельница зла,
В ночи луна ущербная плыла
И остроносой лодочкой качалась,
Скрывалась, видима едва-едва,
За гряды тучек, как за острова,
И снова, золотая, появлялась.
Мне чудилось в ту ночь,
Что правил ею
Нахальный морячок
Вадим Гордеев.

Луна плыла,
От страха сердце стыло,
Уставясь на луну, собака выла.
Должно быть, ей,
Как в древней седине,
Поговорить с людьми не удастся,
Теперь собаке то и остается,
Как ночью апеллировать к луне.
Есть у собак
Свои собачьи слезы,
Свои неразрешимые вопросы,

Луна плыла,
Напоминая ликом
О чем-то беспредельном и великом,
О жизни, может быть совсем иной,
Необычайно легкой и забвенной.
Но, поманив, она, как щит вселенной,
Меня вернула к суете земной.
И я боюсь, что заблужденье Наты

Для всех троих
Трагедией чреват.

Жизнь равновесна:
По доходу трата,
По взятому предъявится и плата.
Уже ты семьянин, а жизнь — все бой,
И на тебя, героем в новой драме,
Противник жмет твоими же ходами,
С годами позабытыми тобой.
Тщеславного Вадима похождения —
Воистину Жуана порожденье...

Но в наше время,
В этом нет открытий,
Отходы быта стали ядовитей.
Жуан в любви был романтично свят,
В нем, чистом, страсть жила
И страсть осталась,
Двадцатый век себя добавил малость —
И вот в Вадиме новый результат,
Зато и нет ни славы, ни почета
Для баловней
Холодного расчета.

Как я в глаза
Доверчивые гляну,
Что расскажу я моему Жуану,
Сумею ли вину свою признать?
Зачем сюжет я вовремя не сузил,
Дал завязать Вадиму новый узел,
Который без борьбы не развязать.
Жуану, жизнь прожившему мятежно,
С ним столкновение
Стало неизбежно.

Три песни спел я,
А каков итог?
Герой мой, друг мой снова одинок,
Такой, каким и был он при начале,
Но как ни горек в судьбах поворот,
А все же в мире уже зреет плод —
Дитя любви, дитя его печали.
Уже редакторов предвижу бденье:
Каким Жуана
Будет поведенье?

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

За свободу в чувствах есть расплата,
Принимай же вызов, Дон-Жуан!

Сергей Есенин

Землей рожденный,
Преданный лесам,
Я с детских лет стремился к небесам,
Как к высшей правде жизни и познания,
Где бедствуют особенной бедой,
Где плачут не обычно слезой,
А золотыми звездами страданья,
Но грузом человеческих забот
Отривнут был
От голубых высот.

Познавшему людские недомоги,
Что до того мне,
Как страдают боги!
За Демона не стал бы я рыдать,
Когда бы он в трагическом кошмаре
В той неземной любви к земной Тамаре
Не попытался человеком стать.
Теперь людская боль мне поневоле
Становится сильнее
Личной боли.

А мой Жуан,
Друг и товарищ мой,
Был все еще в душе полугерой,
Он к человеку шел от полубога,
Свою Наташу искренне любя,
Шел смело, но до нового себя
Недотянул совсем-совсем немного,
Когда в пути на крайнем спуске вниз
В его семье
Сотрясся катаклизм.

Давно ли он,
Нежданную, как призрак,
Наташу внес бы в донжуанский список,
Где были и звучнее имена.
В том списке на бумаге полосатой
Какой-нибудь, ну, скажем, сто двадцатой
Стояла бы Наташа Кузьмина.
Состав пополнив своего гарема,
Тетрадь закрыл бы —
Вот и вся проблема!

Пока я излагал
Событий суть,
Жуан уже ступал на этот путь,
Ворчал сердито:
— Замолчи!.. Не надо!.. —
И вновь шагал в своих былых веках
С презрительной улыбкой на губах
И молодым высокомерьем гранда,
Но я его вернул к своей эпохе:
— Где женщины плохи,
Мужчины плохи.

— А если дрянь жена? —
Спросил он гневно.
— Не торопись, она чиста душевно. —
Жуан скосил свой урсливый зрак,
Цедя слова с издевкою жестокой:
— Измена с благородной подоплекой,
Так, что ли, друг мой?
— Если хочешь, так.
— Чиста душой? —
И гаркнул обаддело: —
Нет!.. Я предпочитаю чистым тело!

В чужой душе,
Как ни свети, темно.
Вот и смывай родимое пятно
Замашек буржуазно-феодалных.
Ведь многие на жен чужих глядят,
А собственных коснется, все хотят
От них поступков только идеальных.
И я спросил:
— А у тебя из ста
Была ли хоть одна во всем чиста?

Опешил он,
Не каюсь в связях с ними:
— Они же были женами чужими!
— Но если в прошлом для своих любвей
Ты чистоту считал души ненужней,
Представь Наташу за другим замужней
И по привычке заново отбей,
Тогда она, полученная с бою,
Уж не тебе изменит,
А с тобою.

На этот раз
И я не без уловки
К поступкам подводил мотивировки:
— Нет, милый мой, двонть себя нельзя,
Быть может, снова, как уже когда-то,
К нам подступает век матриархата,
А мы не знаем и бушует зря. —
Жуан, заметив, что его дурачу,

Послал меня
Ко всем чертям собачьим.

Герой — потемки,
Но по резкой речи
В нем человека нам увидеть легче.
Как только начал он меня бранить,
Я сразу понял, что мой друг с разбегу
К себе вернулся, то есть к человеку,
А с человеком можно говорить.
— Сядь! —
Приказал Жуану я, готовясь
Сказать ошеломительную новость.

— Твоя беда
Была неотвратима,
Да, да, ведь сам ты породил Вадима,
Собравшего в себе твое хламье.
О, донжуанство без душевных граций —
Подлейшее из поздних генераций,
Оно теперь возмездие твое!
Как гордый человек,
С открытым взором
Испытывай теперь
Себя позором!

Один и тот же грех,
Но в двух сердцах
Неодинаков на больших весах,
У каждого свой потолок и полка.
Как ни тяжка Наташина вина,
Как ни трагична, все-таки она
Лишь жертва ложно понятого долга,
С тобой ли будет,
С ним ли, наглецом,
Она того-с...
Готовься стать отцом!

Он так смотрел,
В таком холодном поте,
Как будто спрашивал:
За что же бьете?
Неясно было, что владело им,
Боязнь ли, что к бывшему не вернуться,
Иль первый страх, что может разминуться
С таким желанным будущим своим?
И я, чтобы облегчить груз известий,
Заметил, уходя:
— Рождайтесь вместе!

Закрывши дверь,
Я в тот же самый миг
Услышал за собою львпный рык
И некий шум, как ураган над лесом.
Так у Жуана в мозг его и грудь
Вошла психопатическая муть,
В науке называемая стрессом,
А возникает этот самый стресс,
Когда над мыслью
Чувства перевес.

А мой герой,
Как бывший соблазнитель,
Был не философ, даже не мыслитель,
Но понимал, в чем благо и в чем зло.
У самолетов — надо ж догадаться! —
Чтоб те не разрушались от вибраций,
Отяжеляют каждое крыло.
А может, если посмотреть не узко,
И человеку
Легче под нагрузкой?

Сначала в нем
При взрыве безрассудства
Возобладали низменные чувства,
Но не бесплодным был тот львиный рык.

На бурных взрывах вот такого рода
Нас подвигала мудрая природа
Очеловечивать свой темный лик.
Лишь стоило мне друга крепко вылить,
Как, пошумев в горячке,
Стал он мыслить.

И мысль пришла:
«Как, не свершая мести,
Мне сохранить достоинство и честь,
Кого судьбою взять, не унижаясь?
Насчитывал когда-то до семи
Я добрых нянек у своей семьи,
Теперь же все куда-то разбежались.
Сегодня в положении таком
Помочь не сможет
Даже мой цехком.

Как наказать
Измену и обман?
Когда бы вор залез ко мне в карман,
Его б судили очно и заглазно,
А негодяй — не-е-ет, я его убью! —
Ограбил душу и любовь мою
И почему-то ходит безнаказный...»
Стихом поэта
Для острастки бестий
Жуан затосковал
О шпаге чести.

Тем временем,
Со злом войдя в мой опус,
Вадим еще догуливал свой отпуск,
Наташа у подруг его ждала,
Не сдавшись грубой материнской силе,
А Марфа Тимофеевна в том же стиле
Все ту же дипломатию вела.
Вот расстановка лиц, и в ней на диво
Держался каждый
Своего мотива.

Едой пренебрегая,
Даже сном,
Печальная Наташа пред окном
Ждала матроса, глядячи за раму,
И в том, что после горькой ночи той
Матрос не появлялся с темнотою,
Винила только собственную маму,
Наивно полагая, будто он
Был в лучших чувствах
Ею оскорблен.

Обидно зло,
Обидней во сто крат
Любовь и благородство не попад,
Самовнушенные по школьным книгам,
Меж тем когда читаем книги мы,
То лишь щечочем слабые умы
Мечтаньями великих о великом,
Иначе бы — Толстого прочитал,
Так сразу бы
Философом и стал.

Жизнь старше книг.
Уже через неделю
Наташе ожиданья надоели,
И та решила с долей озорства
Зайти к Вадиму, выбрав путь окольный,
Пока что на правах подруги школьной,
А не по праву тайного родства.
Оделась хоть и скромно, но прилично.
На этот раз
Она была практична.

При встрече рек
На берегу крутом

Гордеевых стоял высокий дом.
Не бредя каменными городами,
Их дом стоял еще со старины,
Когда Гордеевы и Кузьмичны
Дружили семьями пли домами.
С кедровыми венцами
Дом крестовый
До сей поры глядел
Почти как новый.

И берег,
И река напротив дома
Наташе были с детских лет знакомы.
Не зная ни заботы, ни тоски,
Они в реке купались,
Внешне кроткой,
В гордеевской переплывали лодке
На золотые свейные пески.
Ах, детство, как ты далеко-далече!
Когда глупы мы,
Жить намного легче.

Где две реки
В одну соединились,
Там воды цветом надвое делались.
Наташе стало странно, как она
Той разницы тогда не углядела:
Река же половиной голубела,
А половиною была темна.
Душою смутной постигая что-то,
Она вошла
В тесовые ворота.

Уже в дому,
Ухоженном на диво,
Она застала только мать Вадима,
В заботе разбиравшую бельё.
Та увидела гостью и запела:
— Как выросла да как похорошела! —
И принялась усаживать ее,
Украдкой пряча в уголок косынки
Две тайно
Недоплаканных слезинки.

По тем слезам
Наташе ясно стало:
И здесь ее мамаша побывала.
Жестокая в стремлении своем,
Она почти что — не почти, а точно —
Сравнилась в дипломатии челночной
С американским госсекретарем,
Но Тимофеевны редкие задатки
Не принесли
Желаемой разрядки.

И все-таки она,
Как дипломат,
Уже имела некий результат.
Ее переговоры, то есть ссоры,
Неумолимо привели к тому,
Что в этот день
В гордеевском дому
К отъезду сына начались сборы,
А сам он, пережив однажды страх,
Сойтись с ней снова
Не нашел отваги.

«Все для меня!» —
Вадима был девиз,
Родителям же этот эгоизм
Сначала не казался трудной ношей:
«Все для него, а значит, и для нас!»
Но, как и у других, им от проказ
Единоличника жилось все горше.
Родить второго не хватает сметки,
То и страдают
Семьи-однодетки.

Отец сердился,
Но хитрюга-мать
Грехи сына умела прикрывать.
Вот и теперь, колючим взглядом глядя,
Как будто бы не зная ничего,
Заговорила слезно про него,
Кивнув на фото:
— Уезжает Вадя... —
Покуда рос, был и душа и плоть,
Завел жену —
Отрезанный ломоть...

На карточке,
Внимание привлекая,
К Вадиму льнула женщина другая...
Как будто нож по сердцу полоснул,
Как будто гром по голове ударил,
Как будто молнии огненные твари
Обвили грудь и задушили гул.
Забыла все, очнулась в жутки дремной
На берегу,
На половине темной.

Там омут был.
Черней, чем эбонит,
Он притягал Наташу, как магнит,
Как взгляд удава свою жертву манит.
О, красота!.. Недаром говорят,
Что пожилых страдания дурят,
А молодым их красоту чеканят.
Она была красива несомненно,
Но красотой теперь
Уже надменной.

Ни горьких слез,
Ни жалостного вздоха.
Что скажешь ты мне, милая эпоха?
Ведь на земле все та же маета,
Хотя века над миром пролетели.
О, сколько женщин,
Как она, глядели
В холодные речные омута!
Но не у всех у них, как у Наташи,
Невидимый хранитель
Был на страже.

Высокая,
Она наверняка
И на себя глядела свысока,
Чтоб умереть, собой пренебрегая,
Уже ступила на ступени дна,
Вдруг ощутила то, что не одна,
Что с ней уходит вместе жизнь другая,
И эта жизнь уже,
Как выкрик с мест,
Активно выражала
Свой протест.

Все это
О Жуановой супруге
Я в Марьевке пишу, а не на юге,
На той пишу Назаркиной горе,
С которой видно, как, углы меняя,
Бывает своенравной речка Я
В дождливой предуборочной поре.
Вчера услышал с берега стенанья,
Что утонула
Липецкая Таня.

Ах, Таня!..
Шестиклассница всего,
Жила напротив дома моего,
Мне довелось улыбкой с нею знаться,
С утра в подмогу маме, говорят,
Она пасла у берега телят,
А вечером решила искупаться,

По выходе на берег окунулась,
Нырнула вновь
И больше не вернулась.

Ах, Таня, Таня!
Мне бы жизнь воспеть,
А не твою бессмысленную смерть.
Найти ей оправданье просто негде.
Помощница, телят не допаса,
Не доучилась и не доросла
До счастья жизни и ее трагедий.
Уж лучше бы над омутом она
Стояла,
Как Наташа Кузьмина.

А у Наташи,
Повернувшей круто,
К спасению была одна минута,
Одна минута, но она была,
Чтоб заглянуть в глаза
Манявшей бездны.
Чтобы подняться
На берег отвесный,
Любовью прежней выгорев дотла,
А за любовью, преданной сожженью,
Судьба сулила самоотверженье.

Да неужели
В этот ураган
Ни разу ей не вспомнился Жуан?
Нет, вспоминала и впадала в жалость,
Но, если же по совести сказать,
Ей стыдно было даже вспоминать,
А встретиться тем более боялась,
О чем Жуан узнал и что сначала
Его еще сильнее ожесточало.

Как мысленно,
Переживая стресс,
Хватал он шпаги мстительный эфес,
Что думал он в часы своих терзаний,
Униженный в позоре и стыде,
Узнал я из допросов на суде,
Из протоколов первых показаний.
Так, защищая честь своей семьи,
Не избежал он
Роковой скамьи.

Весь день
Без суеты и без помехи
Жуан сурово проработал в цехе,
Цех стал спасеньем друга моего,
Где, горю и тоске не потакавая,
Железная работа заводская
На время отвлекала от всего:
То калька,
То шаблон,
То к мысли повод,
Глядишь, задаст
Какой-нибудь шпангоут.

Закончив смену,
В тягости души
Он разбирал к уходу чертежи
И чередил на новый день по плану,
Вдруг из-под них
Предвестьем новых бед
Упал запечатанный конверт,
Коротко адресованный: «Жуану»,
А в том конверте — сложенный листок,
Имевший пять
Машинописных строк.

!!! Вот так в начале,
Как ножи в замахе,
Стояли восклицательные знаки,

«Я знаю, ты не трус и не святой,
Так почему же мириться с позором?
Сегодня в десять вечера на скором
Уедет подлый оскорбитель твой,
Отмести!!!!»
Вновь за призывом наказания
Стояли те же знаки восклицанья.

Еще без мысли,
Но Жуана взгляд
Уже вцепился в темный циферблат.
«А кто так страждет за мои обиды?»
Перечитал записку, и тогда
Узнал он без особого труда
Высоковольтный стиль Аделаиды,
О чем подумал,
Неизвестно нам,
Но только взгляд
Опять прильнул к часам.

Недостижимо!
Изумляться надо,
Что ту записку написала Ада,
Любовница, покинутая им.
Подумать, для любви и любований
Такая амплитуда колебаний!
Обидчик злой, он все же был любим,
Хоть с появлением у него Наташи
Любим любовью
Родственницы старшей.

Как у металла,
Если он нагрет,
У истинной любви один лишь цвет,
Горячий цвет, и отклоненья редки,
Точнее, он бывает только ал,
А холодеть начнет, как и металл,
Любовь являет разные расцветки:
Малиновый сойдет на темно-синий,
А синий низойдет
До черной стыни.

Есть женщины
Душевной темноты,
А есть негодницы из доброты.
Они воображают все несчастья,
Которые на милого падут,
Чтоб оказаться рядом, тут как тут,
И проявить душевное участие.
Скажу, не трояга оттенков всех,
Была Аделаида
Не из тех.

Для выдумки любви,
По-детски смелой,
Была Аделаида слишком зрелой
И слишком опытной, добавлю я.
Нет, в ней любви воспоминанья жили,
А раз его, Жуана, оскорбили,
Считала оскорбленной и себя.
Не потому ли, что добро являют,
Таких добряшек
Чаще покидают.

Опасно зло,
Опасней во сто крат
Бывает благородство невопад.
Когда бы Ада не казалась правой,
А виделась коварной, сердце в нем
Не вспыхнуло бы гибельным огнем,
Не отравилось мстительной отравой,
Теперь же от укора сам не свой,
Он тотчас заспешил...
Куда?
Домой!

— Зачем домой?! —
Вы тоже удивитесь
И скажете, наверно:
— Экий витязь! —
А между тем Жуан почти бежал,
Трамвай попутный на пути приметив.
Он в этот миг и сам бы не ответил,
Зачем в свою каморку поспешал.
В ней было все печально и уныло,
Пустынно было,
Одиноко было.

Сначала он ходил,
Не зная сам,
Что нужно затуманенным глазам,
О чем томился в беспредметной думе,
Но, проходя в огляде все подряд,
Нечаянно остановил свой взгляд
На новомодном праздничном костюме.
И он решил,
Что в битве даже с блудней
Не подобает быть
В одежде будней.

Под цвет к нему,
Носимому нечасто,
Сорочку выбрал он и выбрал галстук,
По моде крупный узел завязал,
Сменил ботинки общего топтанья,
Как будто шел к любимой на свиданье,
А не крушить Вадима на вокзал.
Хотя и новой ожидалась стычка,
Сказалась все ж
Дворянская привычка.

Он знал врага,
Но знаньем прежде скрытым,
По фотографиям, к стене прибитым,
На двух из них с Наташей тот сидит,
Гордятся соседством
И, должно быть, млея,
Всем напряженным обликом имея
Что ни на есть десятиклассный вид.
Сорвал, хотел их разорвать,
Но внове
Подумал с болью:
«Этот невиновен!»

Нет, нет, не этот,
А совсем другой
Призвал Жуана к встрече роковой:
Подлец и лжец, играющий на вере,
Невинных заставляющий страдать,
Выслеживать себя,
Ревниво ждать
Под фонарями в привокзальном сквере,
К тому удобном, чтоб иметь обзор,
Но экономно узком,
Как Босфор.

Перед любой бедою,
Вплоть до драки,
Природа часто подает нам знаки,
Лишь надо быть внимательнее нам,
А мой Жуан, прямой,
Почти что фрачный,
Стоял в тени с решительностью мрачной,
А если бы взглянул по сторонам,
Прозрел бы там
В обычных голых сучьях
Переплетенья
Проволок колючих.

Но мститель,
Обратив свое лицо
На шумное трамвайное кольцо,
Не замечал пророческого знака,

Он зорко на трамвай все глядел:
Уже четвертый, пятый отзвенел,
Матроса с ними не было, однако
В нем не слабел решительный настрой,
Тем более
Что близился шестой.

Трамвай звенел,
Рассвеченный и быстрый,
С его дуги во тьму летели искры.
Вот завернул и встал,
И в рельсы врос,
А из дверей, как самую победной
Из катера торпедного, торпедой
Одним из первых вылетел матрос.
Так вылететь на этот раз, наверно,
Не помогала
Марфа Тимофевна.

Жуан его
На вылете засек,
Измерил взглядом:
«Хоть и невысок,
Всё ж, кажется, нахальный и здоровый».
В нем не узнал он с фото паренька,
Как не узнать зеленого дубка
Под огрубелю корой дубовой.
Но даже в свете зыбком, как неон,
В сознание утвердилось:
Это «он».

Вадим спешил,
Не склонный к передрягам,
А тут к нему Жуан особым шагом.
Нужны, однако, крупные мазки,
Чтобы представить сразу всю картину:
Шел, голову кудрявую откинув,
Легонько нажимая на носки;
Шел напрямик пружинисто, но веско.
Как он поступит?
Он поступит дерзко.

Для встреч
Им был выбран тот момент,
Когда противник выходил на свет,
С тем чтоб ошеломить приемом верным.
Вадим успел отставить чемодан.
Жуан к нему вплотную.
— Я Жуан!
— И что?
— А вот что! —
И ударил первым,
Была крепка гордеевская кость,
К тому же и удар
Пришелся вскользь.

— Полундра! —
Хоть и быстрый,
Но приметный
К Жуану полетел кулак ответный,
Другой бы от него, наверно, сник,
Но от удара при таком заносе
Друг знал прием,
Используемый в боксе,
Так что противник цели не достиг.
За этой первой стычкой, однако,
И началась
Отчаянная драка.

Теперь они сцепились
Грудью в грудь,
Глаза в глаза,
Да так, что не моргнуть.
— Прощайся с жизнью, выродец проклятый! —
Хрипел Жуан в неукротимом зле
И, изловчась, ударил по скуле,
Когда Вадим шатнулся на попятный.

Но и тому, впадающему в злость,
Ударом хитрым
Врезать удалось.

Запахло кровью —
Той, что вечно в трате,
Той алой, что всегда
За все в расплате:
За жизнь и честь,
За пстину и ложь.
Сейчас она окапала неожиданно
Сорочку белоснежную Жуана.
Торжествовал подлец,
А все ж, а все ж,
Как ни хитри он хитростью лукавой,
При равной силе побеждает правый.

Жуанова губа
Кровоточила,
Но это лишь его ожесточило,
Зато теперь Вадим Гордеев, в ком
Для битвы цели не было и жажды,
Свое лицо ему подставил дважды
И дважды повстречался с кулаком.
Он только зашатался, глядя тупо,
И выплюнул
Два драгоценных зуба.

Я видел
Драку злобную собак,
Я видел в ранней молодости, как
Дрался два жеребца непримпримо.
Читатель мой, не горько ли, пойми,
Такое же увидеть меж людьми.
Жуан лишь свирепел и бил Вадима,
Уже и нос ему сравнял с губой,
Но все же продолжался
Смертный бой.

Жуан не видел,
Как народ собрался,
Как кто-то разнимать их попытался,
Жуан не слышал, как по мостовой,
По улице,
По скверу
Бегом быстрым,
Подбадриваясь милицейским свистом,
Бежал, запаздывая, постовой.
Вадим уже упал с кровавой маской
И вывернутой
В сторону салазкой.

Вадим лежал.
Жуан стоял хмельной,
До боли потрясенный тишиной.
И понял он по напряженным лицам,
По голым веткам у барьера тьмы,
Что между ним, и миром, и людьми
Уже прошла незримая граница.
И только с тем одним,
Упавшим наземь,
Еще как будто
Сохранялись связи.

Вадим лежал.
Жуан стоял над ним,
Тоской и человечностью томим:
Позор был смых,
Но легкость от успеха
Сменилась горькой тяжестью потом,
Что наказал прохвоста, а в самом
Его же боли отдается эхо.
Такая человечность выше права,
Есть в человечности
Своя отравка.

— В чем дело? —
Вопросил порядка страж
И, охватив всей драмы антураж,
В Жуане быстро разгадал убийцу,
Но, деловитый, был хоть и безус,
Прощупывая у матроса пульс,
— Связать бандита! —
Бросил бригадмилльцу,
Прислушался с гримасою кривой
И удивился:
— Кажется, живой!..

— Кто был свидетель? —
Публика молчала.
— Кто, повторяю, видел все сначала? —
Опять не отозвался ни один,
Иные даже расхотелись стали,
Когда же друга моего связали,
Старушка появилась из-за спин
И назвалась, лицо свое заботя:
— Пишите...
Худокормова Авдотья.

Связали друга,
Лишь за то, что он
Был очень уж расхристан и страшон.
Сорочка кровенела после драки,
А красный сбитый галстук, моды крик,
Дрог на плече Жуана, как язык
От бега запалившейся собаки.
С готовностью,
Неслыханной в бандите,
Он с хрипом молвил:
— А теперь ведите!

У двух машин,
Что привлекли зевак,
На каждой виден был особый знак,
Отчетливый и по значенью четкий.
Вадима увезли из-под куста
Под знаком милосердного креста,
А друга в черном кузове с решеткой.
С ним, даже связанным,
Скажу меж делом,
Авдотья Худокормова не села.

Люблю слова.
Их смысл всегда мне нов,
Но есть среди бродячих звучных слов
Слова со смутной смысловой нагрузкой.
К примеру, лишь с намеком на исток
Уютный милицейский закуток
В народе прозывается *кутузкой*
И надо же!.. Эпоха созиданья,
А держатся
За старые прозванья.

В милиции,
Когда ведут опрос,
Доставкой именуется привоз,
А вот задержка значит приводом.
Все это, как заметил я потом,
В ближайшем отделении седьмом
Писалось и звалось таким же родом.
В нем, раз уж отделеньем называют,
Кого-то
От кого-то
Отделяют.

Здесь,
Если говорить про пятарьер,
Уже при входе видится барьер,
Локтями отполированный до блеска,
В той полировке — трепещи, злодей! —
Была работа и моих локтей,
О чем теперь и вспоминать-то мерзко.
Одно лишь извиняет сердца траты,

Что не всегда
Бывал я виноватым.

Не утаю,
Скажу себе в укор,
Любил я заводить застольный спор,
В азарте доходить до утверждений,
Что я родной поэзии Атлант,
Что я еще непонятый талант,
Черт побери, а может быть, и гений!
Понять все это люди не могли,
Вот почему
Сюда и волокли.

Но как-то
При моей защите бурной
Заметил мне находчивый дежурный:
— Ну ладно, пусть поэт и пусть пророк,
Не бредили, а шли в плену нантний...
Поверю, если что-то сочините,
Чтоб доказать,
Что варит котелок. —
Подумал я, закрыв лицо рукою,
И прочитал им
Горькое такое:

«Скажу,
Невзпяра на лица,
Маяковский жлет.
Моя милиция
Меня не бережет!»

Дежурный — в смех,
И голосом веселым:
— Сварить сварил,
Но с явным пересолом! —
Однако попросил продиктовать,
А записав стихи, пришел к итогу:
— Поэта проводить к его порогу,
А за порогом шум не поднимать... —
Жаль!.. Не было дежурного того,
Когда вводили
Друга моего.

На этот раз
За горестным барьером
Порядком правил, судя по манерам,
Интеллигентный старший лейтенант,
Питомец школы позднего призыва,
Без лишних сантиментов и наива,
Аккуратист скорее, чем педант.
В нем виделся без фальши и уклонов
Гроза
Всех нарушителей законов.

Непререкаемый,
Как сам закон,
Снять путы с рук распорядился он,
Направил в туалет за коридором,
Чтобы Жуан обрел нормальный вид,
Смыл кровь, и грязь, и прочий реквизит
Убийц и хулиганов, при котором
Любая человеческая святость
Могла бы впасть
В недобрую предвзятость.

И все же
В милицейском туалете
Жуан не смыл постыдные соцветья
С лица почти цыганской смуглоты.
На нем в каком-то обновленном стиле
Еще заметней пятна проступили,
Похожие на странные цветы,
Как будто вынес
Свой портрет пятнистый
Из мастерской
Мараки-модерниста.

Здесь ни к чему,
Поскольку стих не проза,
Описывать формальности опроса,
Мы через кое-что перемахнем.
О том, как вел себя он ураганно,
Жуану было слушать как-то странно,
Как будто говорили не о нем,
Но тот, другой,
Его с собой сближая,
Влезал в Жуана,
Кровью ужасая.

Еще страннее
Был ему сейчас
Свидетельницы красочный рассказ,
Как он, Жуан, припрятался за светом,
Как шел матрос и что-то тихо пел.
— А этот из кустов вдруг палетел,
Перед матросом выставился фертом,
Я, говорит, жу-жу, и туча тучей
Шпшел ему в лицо,
Как змей шпшпчий.

И все-таки,
Как ни смешон напв,
Рассказ Авдотьи в общем был правдив.
Поскольку по законам алфавита
Жуан с «жу-жу» звучанием похож,
Но дальше — больше, вот уже и нож
Блеснул в руках напавшего бандита.
Нет, здесь она слегка перехлестнула:
То не был нож,
То запонка блеснула.

Зато потом
В перипетиях зла
Авдотья снова точно была,
Жуана представляя мрачно-грозым:
— Я, говорит, таких не потерплю,
Что породил, то сам же и убью...
— Так было?
— Да, но в смысле переносном.
— Ах, негодяй, какой там перенос,
Когда перекошил
И рот и нос!..

Красиво,
Не крючки да закорючки,
А строчкой к строчке
Шариковой ручкой
Писал дежурный уже третий лист,
Теперь к Жуану повернулся круто
И молвил с удивлением:
— Конструктор! —
Как если бы сказал кому: «Артист!»
Затем Авдотье:
— Вы рисуйте сценки,
Но не входите в личные оценки.

Тот старший лейтенант,
Скажу в упрек,
К интеллигентам был особо строг,
Как свой к своим,
Что ж, это справедливо,
И я бы поступал, наверно, так,
Но вот беда — к проступкам работяг
Он относился слишком терпеливо,
А значит, неосознанно пока
Глядел на них
Как будто свысока.

Как будто
При проступках равно тяжких
Рабочий класс нуждается в поблажке,
Нет, милый, нет, не вымышляй элит,
Для всех бери одну святую меру,

С одною мерою одна и вера,
А потому суди, как честь вслит.
Мы все, мы все, за редким исключеньем,
Интеллигенты
В первом поколеньем.

Но лейтенант,
Напрасно я мечтал,
Моих стихов в то время не читал,
А четко шел по протокольной части.
Всех, кто сумел хоть что-то показать,
Заставил он прочесть и подписать,
Потом все в том же
Праведном бесстрастье
Повел рукой, не напрягаясь слишком,
И вот возникла магниевая вспышка.

А вспышка та
Была тому пример,
Что и сюда внедрялась НТР,
Хотя бы для мгновенных фотографий
По ходу дела в профиль и анфас,
Чтоб выставить народу напоказ,
Коль речь пойдет о большем, чем о штрафе.
Другую кнопкой,
Большую по чину,
Могли включить
Судейскую машину..

Жуан очнулся,
Ужаснулся он:
О, сколько в той машине шестерен!
Привыкший мыслить только конструктивно,
Мой друг, чтоб увидеть без ворожбы
Простую арифметику судьбы,
Закрыв свои глаза интуитивно;
В тот закуток, уже воспетый нами,
Так и пошел
С закрытыми глазами.

Есть жизни ритм,
Любое нарушеньем
В том ритме
Может привести к крушенью.
Так и случилось. Все пошло в пзлом,
Все покривилось в горестном зигзаге,
Все перенапряглось с клочком бумаги,
С пустым Аделаидным письмом,
В котором та Жуана укорила...
Ах, Ада, Ада,
Что ты натворила!

В ком цели нет,
Тому и горя нет,
У человека цели больше бед.
Для дерзкого,
В ком есть свое «во имя»,
Кому начертан неизбежный путь,
С которого уже не повернуть,
Коль быть беде, она неотвратимей.
Трагедия тернового венца
И в наше время
Не для подлеца.

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

Дракою горя не поправишь,
Русская пословица

У гениев
С их славою живучей
Цитаты мы найдем на всякий случай:
И «за» и «против», и у каждой вес,
И каждую цитату нянчит пресса,
Одна приветствует плоды прогресса,

Другая убивает весь прогресс.
Как все-таки при множестве резонансов
Нам утверждать
Незыблемость законов?

А было время,
Когда пришлый Рим
Был своевольно претором судим,
Всего одним, умевшим мыслить здраво,
Проступки взвешивать, а вот теперь,
А вот теперь попробуй-ка доверь
То волевое преторское право!
Нет, нынче преступленья и пороки
Давно имеют
И статьи и сроки.

Еще до древнеримского закона
Законы были мудрого Солона.
В те времена для тех преступных лиц,
Которых кара римская карала,
Для писанных статей вполне хватало
Всего двенадцать каменных таблиц.
Сегодня свод законов так огромен,
Для них не хватит
Всех каменоломен.

О, слово русское!
Сойдешь с ума
От слова непонятого «тюрьма»!
Чужое мне, оно воображимо,
Как яма на дороге, как провал.
Вот я о древнем Риме толковал,
А прокурор-то к нам пришел из Рима!
Не потому ли другу моему
Он до суда
Определил тюрьму?

Так думал я,
Не зная фактов многих,
Не понимая мер особо строгих.
Повсюду было слышно «ах» да «ох»,
Сочувствия, догадки, слухи вроде,
Что он убийца,— словом, на заводе
Произошел большой переполох,
Как годом раньше, в роковое лето
При испытанье
Нового объекта.

Нацеленный на высоту и скорость,
Тот самолет принес тогда нам горесть,
А не триумф в ряду других побед.
В одно мгновение почти отвесно
Ушел он вверх,
На синеве небесной
Оставив темный реактивный след...
И долго нам потом была заметна
На чистом небе траурная лента.

Да будет вечен
Миф о Фазтоне,
О том, как в небе солнечные кони
Летели так, что небосвод дрожал,
Так, что прошли запретную границу,
А юный бог, стоявший в колеснице,
Тех солнечных коней не удержал.
Пределов нет!.. Они еще рванулись,
Но в тот же миг
О молнию запнувшись.

У новых сил,
Открытых нами дерзко,
Своя для нас есть тайная отмстка.
Земные Фазтоны наших дней,
Овладевая силою могучей,
Мы самолеты этой силе учим,
Впрягая сразу тысячи коней,
А узнаем, увы, намного позже,

Какне хитрые
Нужны им вожжи,

Зато потом
Нас учит самолет
И поднимает до своих высот,
С мечтами жизни ускоряя встречи.
На том пути к сияниям вершин
Ужасна гибель опытных машин,
Ужасней катастрофы человечья.
При гибели пдеи
Среди последствий
Страшней всего
Топтание на месте.

Жизнь, мать моя,
Люби и береги
В любой борьбе идущих впереди
И первыми вступающих в сраженье.
Нельзя всем продвигаться, и мчась и мчась.
Всегда, чем больше войсковая часть,
Тем медленней бывает продвиженье.
Скажу в итоге, выражаясь метче:
Во всяком деле
Впереди разведчик.

Вот почему и вызвало волненье
Нелепое Жуаново паденье.
Мы все в его хмельные виражи
Не верили, подозревали шалость.
Так много новых линий прозревалось
На добром чертеже его души,
А более того — особо важных
Пока еще набросков карандашных.

В миллицию,
Перешумев станки,
Звонили телефонные звонки,
Чтоб оградить Жуана от порухи.
Весь цех о нем просил, как ни о ком,
Бумаги переслав через завком,
Чтобы его отдали на поруки,
С гарантией, что мудрый коллектив
Задушит в корне
Этот рецидив.

День проходил, второй —
И все сначала.
Машина добротная стучала,
Внушая самой белой из бумаг,
Что у Жуана — светлый ум, призванье,
Отзывчивость, любовь к труду и званье,
А было-то, действительно, все так.
«И при наградах,—
Скажет мне завистник,—
Не пишется
Таких характеристик».

В пустых надеждах,
В похвалах без края
Прошла неделя, началась вторая,
Но даже и такой авторитет,
Как наш директор
С мудрым лбом бугристым,
Входивший запросто ко всем министрам,
Не получил желательный ответ.
Все попусту! На наши упования
Не отвечали
Органы дознанья.

Не одолев какие-то препоны,
Машинки стихли, даже телефоны,
Да и цехком собрал весь кворум свой
Без шума, без повестки широченной.
Цехкома обезглавленные члены
Хотели быть обратно с головой,
Хотя и не пытались скрыть, к их чести,
Что в этой роли был Жуан на месте.

Стал головой
За друга моего
Застенчивый предшественник его,
Имевший право жить в большой квартире,
А он, как помните, стыдился, молчал,
В дверь обязательную не стучал,
За что товарища и прокатили.
Жуан тогда помог, теперь у зала
Не избирать его
Причип не стало.

Все объяснялось
Гробовой доской,
Дежурившей в больнице городской,
Пока Вадим на грани был опасной,
Да и теперь, воскресший от шприца,
С первичной реставрацией лица
Был все еще для следствия безгласный.
Его, не покладая чутких рук,
Неделю штопал
Опытный хирург.

Оберегая мускульные связки,
Тот возвратил Вадимовы салазки,
И только после принялся за нос,
Вернее, то, что называлось носом,
С таким невероятным перекосом,
Хоть сразу отсекай, да и в отброс,
Что для хирурга и не важно вовсе,
Лишь были бы хрящи при этом носе.

Конструктор жизни,
Плоти властелин,
Он мял ее, как скульптор пластилин
И мнет и гладит, нежно притирая.
Хирург трудился долго, но не зря,
Вот появилась первая ноздря,
Вот обнаружилась ноздря вторая.
Все ладно бы, однако в том каркасе
Вадима лик
Был все еще ужасен.

На этой стадии,
Пока что трудной,
И появился следователь юный,
Ни зубр,
Ни дока,
А всего стажер,
Как все они, мечтавший о великом,
Учившийся уже по новым книгам,
А потому не знавший прежних шор,
С тем, чтобы при любом судебном иске
Был идеал решений
Самый близкий.

Смышленный юноша уже писал
Статейки в юридический журнал,
И вот теперь с прилежностью похвальной
Спешил сюда к тому, кто претерпел,
Хотя в душе, конечно, сожалел,
Что случай выдался почти банальный,
И даже удивился, что хирург
К Вадиму допустил его не вдруг.

Любой художник
В крайней неохоте
Ведет нас к незаконченной работе,
Боясь опозлить тапство труда,
Боясь от нас придирчивости мелкой.
Когда в лице такая недоделка,
Он все-таки сгорает от стыда
От одного сознания, что скульптуры
Так далеки
От подлинной натуры,

Вадим был жпв,
В конечном счете он

Понес лишь эстетический урон,
А вот как выглядел, судите сами,
Коль харьковский стажер спросил о нем:
— Так сильно?.. Да неужто кистенем?!
— Нет,— отвечал ваятель,— казанками! —
И показал у собственной руки
На сжатых пальцах
Эти казанки.

Будь следователь
Трижды беспристрастен,
Он заключил бы, что Жуан опасен.
Хоть не доказана была вина,
Хоть было далеко до обличенья,
Но мера, названная *пресеченьем*
Уже была к нему применена.
Мечтал тот благоденствовать в семье,
А очутился
В каменной тюрьме.

Тюрьма
По образцу тюрьмы московской,
Имевшей славу «тишины матросской»,
Здесь называлась просто «тишиной»,
Что было понимать намного проще,
Поскольку примыкала близко к роще
Высокой смутноглазкою стеной.
Она по виду не казалась мрачной,
Но не шибала
И на комплекс дачный.

Как на заводе,
Там ему родная,
И здесь его встречала проходная,
Но только пропуск нес за ним другой,
А дверь стальная голосом державным,
С большим ключом,
И в наши дни не ржавым,
Проскрежетала о беде людской.
И не было печальнее на свете,
Чем были для него
Минуты эти.

Уже в тюрьме
Испанских грандов отпрыск
Сначала отдан был на строгий обыск,
Потом сфотографирован, смурной,
Потом, чтоб не играл с законом в прятки,
С красивых пальцев отдал отпечатки
И побыл в бане, правда, без парной.
Как видите, преследуя заразу,
Здесь водворяют
В камеру не сразу.

Казалось,
Беды лишь теперь настигли,
Когда его, кудрявого, постригли,
О чем скажу особо, без помех.
Хоть в правилах, властями утвержденных,
Острижка значилась для осужденных,
Здесь остригали поголовно всех,
Но из подследственных о малом горе
С начальником тюрьмы
Никто не спорил.

Он был неузнаваем
В то мгновение
С глазами оскорбленного оленя,
Бежавшего на зов издалека,
Которому за вольность похождениям
Из высших и гуманных побуждений
Спилили благородные рога.
Так мой Жуан в своей тоске безмерной
Стал тридцать первым
В камере тюремной.

В ней с двух сторон,
Загородив простенки,

Железные стояли этажерки
В двух ярусах,
А полки — в два крыла,
И каждая для бедного Жуана
На образ допотопного биплана
Нелепостью похожая была.
На них какой-то странный вид имели
Заправленные с хитростью постели.

Они имели,
Без морщин и складок,
Такой геометрический порядок,
Тот вечный ряд, который дли и дли,
И каждая одно изображала,
Как будто в длинной куколке лежала
Египетская мумия внутри.
Все было чисто, вымыто отменно,
А все же где-то втайне
Пахло тленом.

Не дай вам бог,
Читатель мой любезный,
Вдыхать вот здесь
Застойный пот телесный,
А более того — душевный пот.
И все-таки при обработке долгой
Телесный пот сбивается карболкой,
А пот души карболка не берет.
В процессе воскрешенья и распада
Из душ больных
Выходит много яда.

Казалось бы,
Откуда взяться поту,
Когда почти что школьную работу
Все тридцать делали за свой урок.
В большом застолье,—
В клейке — идеальным,
Пакеты клеим клеили крахмальным
С их фирменной эмблемой «Сибторг».
За двести штук у каждого, вестимо,
Был свой особый
Да и общий стимул.

Их староста,
По виду плут типичный,
Хотя и плут, но человек практичный,
Жуана сразу приобщил к труду:
— Укладывай-ка, друг, свою котомку,
Садись да клей, да не особо громко
Рассказывай, на чем попал в беду...
— Хи,— подмигнул чернявый, рот осклабя,—
И без рассказа видно,
Что на бабе.

Есть и в цехах и в тюрьмах хохмачи.
— Ты, Италиянец, лучше помолчи,
Дай человеку место на скамейке!.. —
Тот староста из-под своих начал
Не выпускал весь стол, на всех бурчал,
Не отрываясь от пакетной клейки.
Жуан присел с горчайшей из гримас
И начал тихо клеить свой рассказ.

В его рассказе
Не ахти как складно
Перемешалась с правдою неправда:
Портвейн,
Потом сучок,
Потом стручок,
Потом уже — по версии допроса,
Бог весть за что почти убил матроса,
А про Наташу там и тут — молчок.
«Нет,— думал,— лучше отсижу я лишку,
Чем грязное свое трясти бельишко!»

Поверили не все.
По крайней мере,
Чернявый Италиянец не поверил.
— Вот он зазря испытывал судьбу,—
Кивнул на старосту со лбом Сократа,—
Всего пять тысяч — разве же растрата,
Нет, нет, растрата явно не по лбу!
Не тот пошиб, не тот определенно.
За что страдаю я?
За миллионы!

Есть странные
Особенности в быте:
При каждом маломальском общепитье,
При коллективе, мал он или велик,
С образованием,
Без образования,
Со славой большей должностного званья
Имеются философ и шутник.
Философу — хоть свадьба,
Свадьбу судит,
А шут при нем
И на пожаре шутит.

За шутника, должно, чернявый был,
За мудреца же староста здесь слыл,
Спокойный, рассуждавший не впустую.
Сказал он кратко и на этот раз,
Жуана тихий выслушав рассказ:
— Имей в виду статейку сто восьмую,
Часть первую, а за нее, дружок,
Легко схватить и восьмилетний срок.

Друг-покупатель,
Если в магазине
Расклеится пакет с эмблемой синей,
Виновен в том Жуан, ни кто другой,
Лишь потому, что он в минуту эту,
Отчаясь, злополучному пакету
Края помазал дрогнувшей рукой.
Меж тем закон к его житейской драме
Располагал еще пятью статьями.

Среди причин,
Смягчающих вину,
Всей камерой искали хоть одну,
Которая сказала бы счастливо,
Но знавшие статьи по их частям,
Все комментарии ко всем статьям,
Не отыскали нужного мотива.
— А ревность? —
От наивности вопроса
Опешил даже староста-философ.

Статьи законов
Пишут не поэты,
А потому и ревности в них нету,
Ведь ревность — пережиток дней былых,
В которой признаваться неприлично,
Но в практике она, хоть и частично,
Допущена в понятиях других,
Ну, скажем, вот таком,
Как оскорбленье,
Когда взбурлит
Душевное волненье.

Так в первый день
Жуан прослушал впрок
Свой первый юридический урок,
Открыв себя, как школьную тетрадку,
Запомяв памятью своей
Все, все — от лиц и названных статей
До «Правил внутреннего распорядка»,
Догадливо наклеенных в углу,
На видном месте,
Ближе к санузлу.

В тех правилах,
Что строго неприменны,

Оберегались камерные стены
От вырезок, от надписи любой,
А тут Жуан увидел нарушение,
Перед окном такое украшение,
Которое узрел бы и слепой:
Для глаз ошеломительней удара,
Там было нечто
В духе Ренуара.

На высоте окна
Перед решеткой,
В пристойной позе
И улыбкой кроткой,
Но в то же время в полной наготе,
Чуть-чуть бочком, скрывая стыд умсло,
Смазливенькая дамочка сидела
С ладошкой на зрелом животе.
Все на нее повылупили зенки,
Как будто гостя
Вылезла из стенки.

Уже ЧП.
Была та дама скоро
Замечена дотошным контролером,
А это приключилось в той поре,
Когда, за спинами сцепивши пальцы,
Той камеры жильцы и постояльцы
Гуляли на прогулочном дворе.
Начальство поступило слишком строго,
Вернув их, грешных,
В камеру до срока.

Виновника нашли
Без всяких мытарств,
Тщеславного само тщеславье выдаст.
Так и случилось, не смолчал талант,
Который наконец-то пробудился.
И надо ж, на художника учился,
А получился крупный спекулянт,
Сплавлявший за рубеж через кордоны
Какже-то старинные иконы.

— Стереть и смыть! —
Художнику за шалость
Пять суток гауптвахты полагалось,
Не камера вступилась — дескать, мы
Не станем лучше, если будет смыта.
Просили контролера, замполита,
Дошло и до начальника тюрьмы,
И снова с просьбой
Староста-молчалиник:
— Оставить просим,
Гражданин начальник.

Никто не знал,
Что бравый подполковник
Был всякого художества поклонник,
Стихами увлекался, как юнец.
На даму долго он глядел с усмешкой,
Изъяны в ней оправдывая спешкой,
Задумался на миг и наконец
Сказал, ни в чем не углядев распутства:
— Хоть не шедевр,
А все-таки искусство!

Большой начальник,
Властью облеченный,
Почти всегда добрей,
Чем подчиненный.
Уже не гауптвахту, а барыш
Имел барышник после дерзкой ночи
Еще бы, у него в глазах всех прочих
Поднялся человеческий престиж,
К тому же, уже будучи прославлен,

Через неделю
Был в Москву отправлен.

Недоставало друга
В новом списке,
Пусть был бы и не друг,
А просто близкий,
С кем поделился б горьким горем, в ком
Сочувствие нашел бы промах явный.
Жуану приглянулся тот чернявый,
Прослышший зубоскалом-путником.
Заметил при одной из ситуаций,
Что был и сам
Не чужд для Итальянца.

Тот не таил,
Довольный разговором,
Как стать мечтал международным вором,
Иметь свой миллион, свой лимузин
И, наконец, мечтая, домечтался:
В счастливую Италию подался,
Ограбив ювелирный магазин.
— И вот я там!..
— А как без языка-то?
— Язык — пустяк:
Eviva folgorato!

Припоминая города и встречи,
Признал он, что смущала быстрость речн,
Что все как пулеметами палят,
Что все слова как пули вылетают.
— Когда они подумать успевают
О том, о чем так быстро говорят?!
А впрочем, там, — сказал не без бравады, —
Пока есть деньги, языка не надо!

Пока в кармане был родной запас,
Жизнь улыбалась мне, но пробил час
Переходить на местные караты...
В Италию, скажу, не то, что тут,
Там в одиночку люди не крадут,
А создают сначала синдикаты.
Мне коллективность их была страна:
Вот вам и буржуазная страна!

Я тоже не дремал,
Не спал все ночи,
Пока не ухватил свой миллиончик,
Ну, думаю, теперь гуляй и пей,
Но в этих лирах, боже, еле-еле
Его хватило мне на две недели
При всей советской выдержке моей.
На хлопотах о новом миллионе
Меня потом
Застукали в Боломье.

Тюрьма там, бр-р-р,
Заклятого врага
Не поместил бы в ней у потолка
На третьей полке
Спальни трехэтажной,
Туда и залезать-то — маета,
А влезешь — ну, такая духота,
А теснота, ее и вспомнить страшно,
Притом хоть и у нас, —
Вошел он в раж, —
Тюрьма, увы,
Не черноморский пляж.

Конечно же,
Рассказ про Интерполо¹
Не песня о Франческе и Паоло,
Но им владела истинная страсть,
Ему судьбой подаренная слепо.

¹ Интернациональная полиция,

Жуан подумал: «Все же как нелепо
Растрчивать ее на то, чтоб красть,
В тюрьме Болонья обливаться потом.
В свою вернуться
Вором-патриотом!»

Еще он думал:
«До каких же пор
Останутся и вор и прокурор,
Ученые юристы, адвокаты,
И судьи, и помощники судьи?
Неужто так и будут все идти
Ума и сил чудовищные траты?»
Вопрос не столь глубокий,
Сколько страстный,
Но для раздумий
Не такой уж праздный.

Суть добрых перемен
Всегда — в законах.
Среди преступников традиционных
Был социально новым некий Зам,
Зловредными отходами завода
Круглогодично отравлявший воды
Большой реки, бегущей по лесам;
Хотя и знал, что в ней давно не удят,
А все не верил,
Что за это судят.

А рядом с ним,
Худой и тонкокожий,
Лицом на Грибоедова похожий,
Сидел незуитик-клеветник,
Постыдно оболгавший —
В том и штука! —
Не власть,
Не строй,
А собственного друга,
За что и поплатился.
Тоже сдвиг!
Весь год ждала, в безделье пребывая,
Статья его сто тридцать,
Часть вторая.

И вот к Жуану
Этот людо-змей
Стал прибиваться с добротой своей.
Открытый дружбе и любви обычно,
Но все ж наметанный имея глаз,
Доверчивый Жуан на этот раз
Ответил гордо и категорично:
— Не разбойник,
Не вор,
Не ябеда,
Я не вашего поля ягода!

Здесь в камере,
Где упреждают зло,
Где всюду глаз, и речи не могло
Идти о клевете или доносе,
Но невзлюбив, как невзлюблял досель,
Под строгую Жуанову постель
Он карту самодельную подбросил,
Ехидно улыбнулся в полгубы,
Когда Жуан
Отправлен в карцер был.

Мне в карцере
С его площадкой малой
И описать-то нечего, пожалуй,
Всего пять строк достаточно вполне:
Вот каменная тумба в том уделе,
Где ночью быть лежанке без постели,
А в прочий срок прижмкнутой ко стене,
На полке хлеба кус не мягче тола
Да горетка соли
Грубого помола.

На тумбу сел он
С мыслью той курьезной,
Что это все пока что не серьезно,
Что это все случайно, все шутя,
Что главное еще придет позднее,
Что станет все понятней, все яснее.
Не думало ль наивное дитя,
Что в эти уголки уединенный
Приводят всех
Для мудрых размышлений?

В суровости,
В игривости затей
Воспитывайте мысли, как детей
Воспитывает опытная няня:
До той поры питайте мысль душой,
Пока не станет мудрой и большой,
Способной на великие деянья,
Способной в жизни доброе творить,
Другие мысли
В людях породить.

Еще скажу,
Без страха впасть в ошибку:
Без мысли зрелой наше чувство зыбко,
В нем стержня нет,
Как в молодой траве,
Сникающей по ветру то и дело.
Когда-то голова служила телу,
А нынче тело служит голове.
Забывла голова, вскружась по чину,
Рожденья своего
Первопричину.

К несчастью,
Кибернетика сама
Несет конец развитию ума,
Дает предел достигнутым вершинам.
Настанут дни, мы будем тосковать
О том, чтобы самим помозговать,
А не бежать с вопросами к машинам.
И мой Жуан решил,
Чтоб мысль возвысить.
Все передумать,
Все переосмыслить.

«Зачем я лгу?
Зачем я фордыбачу?
Зачем же сердце от себя я прячу?
Какое счастье женщину любить,
Когда она тебя страстями полнит!
И если мое тело ее помнит,
То как же голове моей забыть?»
Так думал он не раз,
И все сначала,
Меж тем в душе
Назойливей звучало:

«Долго ждать не могу,
Помани — прибегу
И опять постучусь в твою дверь.
Скажешь, будто ждала,
Будто верной была,
Я и лжи твоей подлой поверю.

Даже то не зачту,
Что увидел не ту,
С синевой опущенных век,
И прощу, что с тобой
Оставался другой, —
Знать, такой на земле человек!

Не аукай — ау! —
Прибежать не могу,
Не могу в твою дверь постучаться,
Но как призрак в ночах,
Со слезой на очах,
Буду, буду к тебе я являться...»

Вдруг звякнул ключ.
Жуан многострадальный
Успел прервать мотив сентиментальный,
Встать у стены с руками за спиной,
Но надзиратель, кажется, не строгий,
Не поднял из-за песенки тревоги,
А лишь кивнул на дверь:
— Иди со мной. —
И повели певца куда-то спешно,
Не в студию грамзаписи, конечно.

Его вели на новый, и всерьез
Стажером подготовленный, допрос,
Отложенный так надолго, вестимо,
Из-за незнания службы и семьи,
Из недостатка разных справок и
Плохой речеспособности Вадима.
Хоть речь уже и удалось поправить,
Зато куда-то подевалась память.

Помог стажеру,
Дело полиставший,
На вид ленивый следователь старший,
Не Шерлок Холмс, на выдумки не резв,
На фото глядя, раззевался даже.
— Лицом-то, как пьянчуга, изукрашен,
А вот глазами... А глазами — трезв!..
Не говорю, что случай эпохальный,
Но, юный друг мой,
Явно не банальный.

И появился у Жуана в деле
Бумаги в новом, так сказать, прицеле:
Здесь были показаны разных лиц,
Свидетельства врачей,
В соседстве близком
Записка Ады с донжуанским списком,
Представить только, в несколько страниц.
Вот так солгавший — да не будет ложен! —
Как дикий зверь,
Был фактами обложен.

Жуан жалел,
Что шаг излишне скор,
Что не длинен служебный коридор,
А то бы шел и шел до дальней дали,
Вдыхая тонкий аромат духов,
Когда легко, как бабочки лугов,
Девчата в мини-юбочках порхали,
Осуществляя связь между пороком...
Простите,
Между дьяволом и богом,

Стажер-очкарь,
Надежда института,
Свои психологические пути
Сплел заново и переплел аркан.
С улыбкою далекого значения
По имени назвал без усечения:
— Входите и садитесь, Дон-Жуан!.. —
Жуан вначале несколько опешил,
Но общий добрый тон
Его утешил.

Еще сказал стажер,
Но без улыбки:
— Вас в карцер посадили по ошибке,
Вы не картежник, согласитесь — нет,
У вас другие страсти и призванья... —
Стажер ошеломлял Жуана знанием,
Внушал, что на события пролит свет,
Что обнаружены меж ними связи,
Что нечто есть
Особое в запасе..

— А вы обманщик! —
И взмахнул арканом. —
В тот мрачный вечер
Не были вы пьяным,
Что, кстати, усугубило б вину,
А если вы в тот вечер трезвым были,
Тогда зачем себя оговорили? —
И повертел записочку одну.
Жуан упал бы, если бы не крепко
Привинченная к полу табуретка.

— Тут анонимка. Видели?
— Да, видел.
— В ней про обиду; кто же вас обидел?
— Безделлица!
— Безделкам счет иной,
Для следствия безделиц не бывает,
А главное и время совпадает...
Нет, вам пооткровенней бы со мной! —
Жуан и сам дорос за время это
До полной откровенности поэта.

— Ну, хорошо! —
Заговорил он четко. —
Моей обиде не страшна решетка.
В любви я самолюбья не скрывал,
Но женщина, как ни дурна собою,
В моих глазах не может быть плохой,
Коль я ее хоть раз поцеловал.
Прошу учесть, что ни к добру, ни к худу
Имен я женских
Называть не буду.

История любви,
Почти былинной,
Стажеру показала длинной-длинной,
Но страстную не прерывал он речь,
В душе благословляя случай этот,
Родивший, как он думал, новый метод:
Сначала удлинить, потом отсечь.
Жуан, казалось, нес,
И все заметней,
Какие-то мистические бредни.

Стажер все слушал,
А когда дослушал,
Еще одну ошибку обнаружил:
«Что отпустил Вадима, это срам!»
Боясь огласки,
Тот, как мать велела
Не возбуждать против Жуана дела,
Спеша уехать, показал, что сам
В случайной драке, будучи не старым,
Ответил на удар
Своим ударом.

Суд близился.
Ни при какой беде
Я прежде не участвовал в суде,
Хоть равнодушных и судил стихами,
Оспаривал трусливый тезис их:
Мол, не коряте никогда других,
Да некоримы будете и сами.
Мне, осуждавшему ненарочито,
На этот раз
Милей была защита.

Должно быть, потому
В момент потребный,
Когда назначен был процесс судебный,
Определен и день, и время дня,
Когда об этом цех предупредили,
На цеховом собрании утвердили
Общественным защитником меня.
Все знали, что годами, а не днями
Мы были закадычными друзьями.

О, русские слова,
В них свет и тьма,
Их родила История сама,
Доверила с конями русским людям,
Чтобы во многих смыслах не блуждать:
Как, например, «судить» и «рассуждать»,
И «рассудить»...
Да мы все время судим!
Но слово «суд» при всяком разговоре
Уже томит предощущеньем горя.

Лишь только я ступил
В судейский зал,
Так силу слова этого познал.
Жуан сидел в особой загородке,
А около стояли с двух сторон
Два стража, представляющих закон,
Хоть вид его был виновато кроткий.
На перегляд, возникший между нами,
Глаза прикрыл он
И развел руками.

Он ждал кого-то,
Улыбнулся нервно,
Когда явилась Марфа Тимофевна.
— Жуан, родной мой! — и не без вины
К нему метнулась всей телесной мощью.
— Гражданка, не положено!
— Я — теща!
— Доставлен не на тещины блины. —
И Марфа Тимофевна, не переча,
Перед законом
Опустила плечи.

Зал заполняли.
Глядя напряженно,
Переговаривались приглушенно,
Вздыхали, как вздыхали бы кругом
Перед началом скорбной панихиды.
Возникло личико Аделаиды,
Ушко мелькнуло нежным крендельком.
Зато у той, что больше виновата,
Не приходило на суд
Хватило такта.

Судейский стол
Стоял на возвышеньях,
Подчеркивая как бы отрешенье
От суеты людского бытия.
К нему, своей обыденностью сходных
Взошли два заседателя народных
И волевая женщина-судья,
В глазах которой и в суде не тухли
Живые огоньки
Домашней кухни.

Над судьями
В готическом разрезе
Голов превыше были спинки кресел,
Взлетавшие к Российскому гербу,
Наглядно утверждавшему сериасто.
Что именем страны и государства
Они вершат Жуанову судьбу.
Здесь вопреки пословице известной
Любого человека
Красит место.

При уточненьи имени Жуана
Раздался смех уже не в стиле жанра.
Хосе Мария Кармен дель Дайман
Тенорио Франциско де Перейро
Де лос Кондатос Риос дель Виейро
Кастильо Гранде Педро дон Жуан.
Но зала смех
Мой друг, лишенный чванства,
Отнес на счет
Испанского дворянства.

С глазами,
Поумневшими в раздумье,
Стоял он в том же праздничном костюме,
Что и во время драки был на нем.
Вот странность, о которой я не ведал:
Суду и прочим он отвода не дал,
Но вздул воздю при имени моем,
Заминка от суда не ускользнула,
Она меня, признаться, резанула.

Почти спокойный,
Пока шел допрос,
Он отвечал, казалось бы, всерьез,
А выглядел насмешником бодливым.
Ответы для людей со стороны,
Наверно, были очень уж странны.
Когда спросили, был ли он судимым,
С иронией ответил остряка:
— Всю жизнь.
— А поточнее?
— Все века.

Мой подзащитный
Разрушал, как мог,
Защиту, заготовленную впрок.
Уже в тюрьме подученный законом,
Немалую сумятицу он внес
Загадочным ответом на вопрос:
— Вы признаете ли себя виновным? —
Кого бы не смутил его ответ:
— Виновным — да,
А виноватым нет!

Суд — не игра,
А все же, все же, все же
Пружинки их невидимые схожи.
Хоть на суде поглубже скрыт азарт,
Зато в страстях не меньше интереса,
Почти весь ход судебного процесса
Напоминает чем-то драмтеатр,
Где впечатляет голой жизни фактор,
Где гениален
И бездарный автор.

Здесь каждую написанную роль
Диктует непридуманная боль,
Душою пережитая и плотью.
Вот покажет строгому суду,
Отяжелив Жуанову беду,
Все та же Худокормова Авдотья.
— А чем еще могли бы подтвердить,
Что он хотел
Гордеева убить?

— Как чем?! Да всем!.. —
Сомненья отменяя,
Заговорила простота святая:
— Все помню. Я охолодела вся,
Когда кровница потекла по ромам.
Я, говорит, стал тихим да хорошим,
А быть хорошим мне с тобой нельзя.
Нет, говорит, что будет,
Знать не знаю,
Прикокну и навеки закопаю.

Будь прокурор
Историк и психолог,
Он приподнял бы выше тайны полог.
В пример тому свидетельницу взять
С одним дефектиком правосознания.
Когда она давала показанья,
Ей выделял ее драчливый зять.
Так друг мой,
Представляемый двухлицым,
Как в сказке,
Становился Черным принцем.

У жизни есть два плана:
Есть первичный
И есть вторичный,
План метафоричный.
Для всех законы оба, но когда
Два этих плана где-то совпадают,
Второй, высокий, сразу отменяют,
Лишь первый остается для суда.
— Вы подтвердите? —
Прокурор — дотошно.
Жуан в ответ:
— Не помню, но возможно.

Жуана ранил
Раной пожевой
Вопрос об отношениях с женой.
И он представил, как жена и муж,
Все растоптав, с враждой и неприязнью
В суде друг друга обливают грязью
Из всех лоханей и всех грязных луж.
— Боюсь, что подмену с дурным азартом
Историю души
Случайным фактом.

Стол прокурора
Из дубовой плотн
От моего стода стоял напротив.
Тот прокурор, в суде не новичок,
Когда Жуан отвечал вот этак,
Чуть оживлялся при его ответах
И на бумагах проставлял значок.
Те впечатленья чисто человечьи
Сказались после
В прокурорской речи.

В виду имея
Лишь реальный план,
Сказал он, как опасен хулиган,
Какое зло приносит честным людям,
А обществу и нравственный урон.
— История души?.. Нет, мы закон
Проклятым прошлым ослаблять не будем.
Нельзя же нам за каждую волну,
Как за морской прилив,
Винить луну!

Связав проступок
С донжуанским списком,
Назвал он ревность
Чувством подло-низким.
— А если бы за женщины в списке том,
Когда у тех пошли с другими встречн,
Наш подсудимый стал бы всех калечить
В своем негодовании святом? —
Мы даже вздрогнули,
Вопрос лукавый
Ошеломил картину кровавой.

Мечтал я втайне,
Что Жуану с ходу
Своей защитой принесу свободу,
Но прокурор ослабил тезис мой,
Оставил только при надежде слабой
Переменить ему статью хотя бы
На сто десятую со сто восьмой.
Статьи, повышенные номиналом,
По кодексу
Нисходят к срокам малым.

Я начал:
— Уважаемые судьи,
За все, что вам скажу, не обессудьте,
В пристрастии моем не будет лжи.
Здесь в незавидной роли хулиганов
Правопреемник прежних донжуанов,
Но с новой биографией души.
Историю, когда она подвижна,

Судить не надо
Запоздало-книжно.

Мы к новому
С поспешностью возможной
Всегда подоспеваем с меркой прошлой.
Когда у жизни меры новый спрос.
Так, как в семье:
Пока слезам уступим
Да милому сынку обновку купим,
Сынок, глядишь, обновку перерос,
Здесь можно все ж
Предвидеть вещи выброс,
Законы же не пишутся на вырост.

Был Дон-Жуан
В далекие года
Вполне достоин нашего суда,
Но не теперь, когда любовь и верность
Он оценил превыше многих благ.
Так что же вскинуло его кулак,
Неужто только ревность?
Нет, не ревность,
Не пьяный выпад,
Не слепая месть,
А подлостью поруганная честь!

О, наша честь!
Не в ссоре на пирушке
Погиб поэт, невольник чести, Пушкин,
Великий ум, отец большим умам,
Магической поэзии создатель,
Любви и красоты законодатель,
В грядущее путеводитель нам!
А Пушкин оценил пределом злого
Всего одно
Дантесовское слово!

Да, есть закон,
Но есть у миллионов
Авторитет неписаных законов,
Которые нас испокон пасут.
Приспело, чтобы с уголовным вместе
Существовал забытый кодекс чести,
Точней бы стал товарищеский суд.
— Дворянские замашечки!.. У нас-то?!
— А чем мы хуже всякого дворянства!

Хоть в чувствах
Люди разной глубины,
В делах любви и чести все равны,
К тому же, уважаемые судьи,
У Дон-Жуана больший повод был.
Чтобы явился гнев его и пыл,
По форме грубый,
Искренний по сути.
Его вину с оглядкой назад
Не ставьте в старый
Донжуанский ряд.

Блеснул я,
Как положено поэтам,
Таким психологическим курбетом:
— Мой подзащитный — человек не злой,
Скажу вам более, такую личность
Страшит не наказание, а публичность,
Тюрьма — укрыть, лишь бы с глаз долой. —
Суд хмурился, но думал я, однако,
Что переплюнул
Самого Плевако.

— Сел Дон-Жуан,
А не Вадим Гордеев,
Которому за все, что он содеял,
Ответчиком сидеть бы надо здесь.
В том факте, уважаемые судьи,

Что так жестоко их столкнулись судьбы,
Такая же закономерность есть.
Как в данном споре
Истинного с пошлым,
Как будущего
С незавидным прошлым,

Искал я
Аргументы веские:
— Его грехи для бога детские,
Ребяческие страсти не разврат... —
Связать я тщился порванные нити
В догадке той, что сам, как сочинитель,
В Жуановой судьбе был виноват.
Суды же в качестве авторитетов
До сей поры
Не признают поэтов.

Во время речи,
Мне казалось, веской,
Глядел я пристально на стол судейский,
Но обращал свой взгляд и на скамью,
Где Дон-Жуан, разъединенный с нами,
Сверкая потеплевшими глазами,
Чуть удивляясь, слушал речь мою.
Должно быть, прежде полагал он вчуже,
Что думал я о нем
Намного хуже,

Ему смягчал
Лица суровый очерк
Волос подросток темный козырек,
Торчавший над его открытым лбом.
Он выглядел в каком-то свете новом,
Когда, после меня, с последним словом
Растерянный стоял перед судом.
— Что ж, отвечать готов и за прохвоста!
Я доверяю вам... —
Сказал он просто.

Мечтал я все-таки
И верил даже,
Что Дон-Жуан уйдет со мной без стражи,
Но мне звучат знакомые слова,
Ведущие к суровому пределу:
«Суд оглашает приговор по делу...»
А подоплека слов уже нова,
Особенно в результативной части,
Где под конец
Итожатся несчастья.

Нет строже фраз,
Прочитанных судьей,
Чем фраза «руководствуясь статьей»,
Что прозвучала, как «прощай, свобода».
Так судьбы, несмотря на пафос мой,
Статьи придерживаясь сто восьмой,
Жуана осудили на три года,
В колонию, туда,
Где быть бы живу,
Не строгого, а общего режима.

Жуан отвесил
Чуть ли не поклон.
Готовый к худшему, подумал он,
Что суд ему явил большую милость,
Меж тем раздался в тяжелой тишине
Вздых, резко резанувший сердце мне:
— Когда же в мире будет справедливость! —
То не сдержала горя и обиды
Влюбленная душа Аделаиды,

Когда-нибудь да будет,
Боль-то в том,
Что будет не при нас, уже потом,
Уже потом, потом, потом, когда
Корысти всякие в былое канут,
Когда своим сознанием люди станут
Все членами Верховного Суда.

Винновому, когда все это будет,
И полминуты лишней
Не присудят.

Все так и будет
По любви и страсти,
Но после нас, без нашего участия.
Как ни печально, мы признать должны
Всю диалектику всего судейства:
Законы достигают совершенства,
Когда они почти что не нужны.
И правосудье будет совершенней,
Когда уже не будет преступлений.

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.

М. Лермонтов

Как все же быстро люди, боль не теша,
В своих рядах заделывают брешн.
На всех постах —
Кто зав,
Кто зам,
Кто пред,
В достоинствах
Сомнительных и мнимых
Нет, говорят, людей незаменимых,
Зато и повторимых судеб нет.
Все судьбы человеческие тоже,
Как отпечатки пальцев, не похожи.

Вокруг лица
Известного собою,
Случится ль что,
Все полнится молвою,
Дурной и доброй, но едва-едва
Успеет ставший притчей во языцех
С друзьями и постом своим проститься,
Как умолкает праздная молва.
Вот так и на заводе очень рано
Затмился образ моего Жуана.

Но до конца
Не рвутся связей нити,
Всегда найдется памяти хранитель,
Душа, а в ней заветный уголок,
Всегда найдется тот,
Кто слово скажет,
Кто бережно и вовремя завяжет
На роковом обрыве узелок.
И мой Жуан, прославленный всесветно,
Из памяти не мог уйти бесследно.

Но женщины
Иначе память полнят,
Они не головой, а плотью помнят.
Аделаида как бы самого
Жуана в своем сердце поместила,
Наташа между тем в себе носила
Уже затяжелевший плод его.
Большой Жуан помалкивал, усталый,
Все беспокойней
Становился малый.

Две женщины —
Два мира и два взгляда.
Куда же только не писала Ада,
Винясь в порыве горя и стыда.
Ходатайства ее теперь взлетали
Все выше по судебной вертикали,
До самого Верховного Суда,
Но все суды и в центре и на месте
Те письма оставляли
Без последствий.

Не так себя вела его жена,
Строптивая Наташа Кузьмина,
Хотя себя по-своему терзала.
Виновица Жуановой беды
С повинною не бегала в суды,
Просительные письма не писала,
А, муку молчаливую терпя,
Пыталась в страхе
Заглянуть в себя.

Она в себе,
Бунтующего рьяно,
Малюсенького видела Жуана
И думала, когда его родит,
То малевкий, обиженный жестоко,
Глазами осужденья и упрёка
Так сразу на нее и поглядит.
Тогда-то в голове ее соблазной
Стал оформляться
Замысел ужасный.

Она решила
С долей эгоизма
Спасти той мерою антитрагизма,
Когда развод с души снимает грех.
Живущим обок разводиться мука,
А вот при осуждении супруга
Закон уже не делает помех.
Но в этих планах Кузьминой Наташе
Пришлось столкнуться
С Кузьминою-старшей.

— Дите под сердцем
Что тебе — лягушка,
В бездожде заскочившая в кадущку,
Чтоб захогеть и выплеснуть ее?
Не-е-т! — Тимофевна злее упрекнула. —
Ты самого Жуана копытнула,
Так сбереги же хоть его дите!
Когда себя еще сильнее замутишь,
Как людям-то в глаза
Смотреть ты будешь?

— Но, мама!..
— Мама — уже двадцать зим!
— Да никакого выхода мне с ним!
— Не трожь!.. —
Тут мать заговорила, даже
Не замечая каламбурных нот:
— Нет выхода?.. Дите само найдет,
Да и тебе еще потом подскажет! —
Я думаю, не в радости был добыт
Вот этот мудрый
Материнский опыт,

Но опыт матерей
По многим гочкам,
Как правило, не достается дочкам.
Любая мать в интимности своей
Должна хранить душевную опрятность,
Чтоб в сердце дочек
Сберегалась святость,
Земная неподсудность Матерей.
Зато границ не знающие речи
Не поучают дочек, а калечат.

Ах, если б все,
Что в жизни знала мать,
Да бесголковой дочке передать,
Ну, например, что той самой грозило
Не народиться с девичьим лицом,
Что мира не было с ее отцом,
Когда она в себе ее носила,
А родила, пренебрегая ссорой, —
Та стала и заботой
И опорой.

В семейных ссорах
Женщин и мужчин
Не так уж много коренных причин
Сходиться вновь, переборов напасти.
Есть просто-напросто привычки власть,
Есть властно обжигающая страсть,
Да, но ребенок
Даже выше страсти.
Он был и остается посеиденно
Вершиной в треугольнике семейном.

Как истинная
Любящая мать
Умела Тимофевна гнев сдержатъ
И перейти на тон спокойно-здравый.
Теперь она решила нежно гнуть,
Чтоб для семьи Наташиной вернуть
Порядок геометрии лукавой,
Когда семья во всех ее делах
Уверенно стоит
На трех углах.

Они сидели в горенке,
Как в детской,
Обставленной почти по-деревенски,
Да так и было по причине той,
Что тесаные, струганые ровно,
Сибирской кладки вековые бревна
Крестьянкой отливали смуглотой.
Здесь было все не знавшими извода
Сработано для продолженья рода.

Жуан жену,
Как новизну из новин,
Сильней любил на фоне этих бревен,
Восторженной: «О, солнце ты мое!»
Теперь в ней —
Дочь ли, сын ли беззаботно
До красоты природно подноготной
Спешили распоясывать ее.
Наташа красивела. Магь недаром
Хотела внука в помощь этим чарам.

— Все поздно! —
Так, чеканя каждый слог,
Наташа начала свой монолог. —
Теперь со мной
Одно другого хлеще:
Как будто я уже давно не я.
Зачем семья мне, если от меня
Куда-то убегают даже вещи.
Хожу, как в заколдованном кругу,
И не могу найти для взгляда гочку.
Все вещи вижу только в одиночку,
А вместе их увидеть не могу.
Продрогшая, стою, как на ветру,
К себе самой уже теряя жалость.
Все, кажется, в сознании распалось,
Все дробно, ничего не собираю,
Все смутно, непонятно, высокомерно...
Зачем семья мне?
Поздно, мама, поздно!..

Дочернее, пронзительное слово
Для Марфы Тимофевны было ново,
Не глупой девочкой предстала дочь.
Мать по-житейски ей помочь хотела,
Послушала ее и оробела,
Не ведая, не зная, чем помочь,
Лишь, прядки тронув жесткою рукою,
Всего-то и сказала:
— Бог с тобою!

Не знала мать,
Не слышала, что есть
У медяков в студенчестве болезнь,
Которая их запросто кокошит.
Научится вной почти все знать,

На части человека разбирать,
Собрать потом живым, увы, не может.
А из гакого, милый мой читатель,
Как ни учи,
Не выйдет врачеватель.

Но все ж случилось,
Что не от бесед
Наташа Кузьмина ушла в декрет.
В том помогли не матери уроки
С ее чутьем роженицы-земли.
Нет, нет и нет!
Наташу подвели
Вошедшие в привычку монологи.
Произносила длинный монолог
И пропустила самый крайний срок.

Зато и оказалось,
Что вопрос-то,
Быть или не быть,
Решился очень просто.
И стал заметен поворот во всем:
В делах, в поступках,
В разговорных нотах,
В неведомых еще вчера заботах —
Пеленках, распашонках, том да сем,
Что даже не приметила в истоме,
Как очутилась в нем...
В родильном доме!

Мне нравится,
Что в доме том крылато
Зовется помещение палатой.
Палата — это, братцы, высота,
Палата — это, знаете, по-царски.
Должно быть, исторические краски
Замешены в том слове неспроста.
Мне даже нравится, что та палата
За множеством рожениц тесновата.

На этот раз она была тесна.
Наташу положили у окна,
Где по стеклу — фазаны и грифоны,
И стебли трав, и белые цветы,
Над белыми цветами с высоты
Свисали феерические кроны.
Но дальше рассмотреть,
Где ствол,
Где ветка,
Мешала бесноватая соседка.

Не описать,
Какой она была,
Как беззастенчиво она кляла
И жизнь дурную, и злодея-мужа...
Нельзя мне с поэтических высот,
От только что описанных красот
Упасть и распластаться в мутной луже.
Не потому ли, что мужей здесь хают,
Их в этот дом
Врачи не допускают?

Не описать,
Всего и не опишешь,
Чего-чего здесь только не услышишь.
Все начинают разное — по уму,
По воспитанью и образованию,
По возрасту,
По росту и страданью,
Но все приходят к воплю одному.
Все разные во всем, они в палате
Находят общий вечный знаменатель.

Представьте,
Выше всяческого срама
Была там образованная дама,
Как говорят, не из простой среды,
Череводившая в период некий

В какой-то заводской библиотеке
С английского научные труды.
Так вот она
Без нравственного риска
Ругала мужа
Только по-английски.

Когда же боль сильнее обожгла,
Она уже на русский перешла,
Но говорила длинно, между прочим,
Звала врача:
— Ах, как нехорошо,
Как тяжело-тяжко... —
Черствый врач не шел,
А фразы становились все короче.
И наконец воспитанная дама
Вдруг выгнулась и завопила:
— Ма-а-а-а-а-а!..

Что говорить, и мы бываем тоже
В своих скорбях на даму ту похожи.
Нам кажется, что наступило то,
То самое — о, и дышать-то нечем,
А сами говорим такие речи,
Что в нашу скорбь не верит нам никто.
В нас много многословья и рекламы,
Пока однажды
Не дойдем до «маммы».

Наташа б поднаслушалась, когда
Ее не наступила черед
Пройти рожениц огненное поле,
Но зубы стиснула, как удила,
И не заметила, что родила
Почти без громких слов,
Почти без боли,
Но, правда, породив буяна-сына,
Она весь день потом
Была бессильна.

Такой роженице,
Такой спартанке
Дивились и врачи и санитарки.
— Где совершенство тела, там — покой,—
Заметил врач, держа ее в примере,—
А если бы рожать самой Венере,
Она б не знала боли никакой! —
Отнесся философски и к вопросу:
— По мрамору узнали?
— Нет-с, по торсу!

Дивясь Наташе,
Не считали дивным,
Что новорожденный был сам активным,
А между тем мальчишка был смышлен,
Мамаши помня план, имел свой опыт.
Должно, боясь, что передумать могут,
Явиться в жизнь поторопился он,
Родившись, не расплакался впустую,
А закричал,
Победу торжествуя!

То знак был,
Возглашенный не для стен:
«Вот я родился, ждите перемен!»
Да, если новой жизни единица
Приходит в мир, переборая тьму,
То в мире, в людях, вопреки всему,
Хоть что-то, но должно перемениться,
Иначе бы при постоянстве зла
Бессмысленной
Любая жизнь была.

Он в чем-то
Мать успел переменить.
Когда буяна принесли кормить,

Наташа как-то даже растерялась,
С опаскою взглянула на него
И, к счастью, не увидела того,
Чего еще недавно так боялась.
Теперь ему, кричавшему бунтарно,
Была уже за это благодарна.

Она ему,
Как делали кругом,
Грудным смочила губы молоком,
И он притихнул с первой теплой каплей,
Дорвался до груди и засопел,
Как будто этим выразить хотел:
Что мне до ваших
До семейных распрей!
Сознание обретенного единства
В ней пробудило
Чувство материнства.

Родив, она постигла наконец,
Что значит муж ей, а ему — отец,
Представший в этот миг
Виденьем грозным...
У всех цветы, а им в седой рассвет
Достался лишь таинственный букет,
Меж рамой нарисованный морозом.
Как стыдно в унижительной уловке
Всем говорить,
Что муж в командировке.

А Тимофевне,
Жившей в прежнем стиле,
И мысли в голову не приходили
Здоровье дочки поправлять цветком.
Поскольку на пайке теперь их двое,
Носила не цветы, а едвое,
Чтоб дочь не оскудела молоком.
Но все калории приносов этих
Та отдала бы
За живой букетик.

Ей вспомнилось
Жуана благородство
Еще в поре их первого знакомства.
Была зима, такой же был мороз,
Легел колючий снег, гонимый ветром,
Когда Жуан за много километров
Ей розу настоящую принес.
Сберег ее, за пазухою грея,
От самой городской оранжереи.

Ей вспомнилось...
А что же делать кроме
Здоровой женщине в родильном доме?
Лишь вспоминать!
Читатель мой, прости,
Вспоминанья — памяти разминка.
Вспоминанья — долгая пластинка.
Лишь стоит ту пластинку завести.
Однако не было серьезней повода
Для них, чем в день
Ее больничных проводов.

В заказанном такси
Погожим днем
Они домой поехали втроем,
Как и позднее будет неизменно:
Наташа, сын, не ведавший всего,
И золотая бабушка его,
Спасительница Марфа Тимофевна.
В новейшей роли
С нежностью в глазах
Она держала внука на руках.

У центра где-то,
Развернувшись хлестко,
Шофер застопорил на перекрестке.

Дорогу преградил солдатский строй
С каким-то новым, весело взлетающим,
Не пехотинским, а небесным маршем,
Рожденным под счастливую звездой.
Солдаты пели без трубы и альта,
Подогреваясь музыкой асфальта.

«Мы, как летчики, как летчики, крылаты,
Только не летаем в небесах,
Мы ракетчики, ракетчики-солдаты,
Мы стоим при небе на часах.

Тверже шаг!
Где там враг?
Страшись ответа грозного!
Нам по велению страны
Ключи от неба вручены,
Ключи от неба звездного.

Кружит, кружит наша милая планета
В голубом и розовом цвету.
Наши умные и меткие ракеты
Берегут земную красоту.

Тверже шаг!
Где там враг?
Страшись ответа грозного!
Нам по велению страны
Ключи от неба вручены,
Ключи от неба звездного!...»

Наташе после марша батальона
Представилась несстройная колонна,
Бредущая таежною грядой,
А в ней Жуан, исхлестанный ветвями,
С широкими и белыми бровями
И белою от снега бородой.
Хоть это даже романтично было.
Но все же у нее
Слезу прошибло.

Рождение ребенка —
Важный фактор,
Меняющий у женщины характер.
Заслышав голос своего птенца,
Мать вздрогнула, в лице переменялась,
Невнятный писк при этом умудрилась
Сравнить с напевным голосом отца,
Тем более в машине шум дорожный
Всем звукам создал
Как бы фон таежный.

Ах, дети, деги,
Где ваш глаз и слух,
Пока не клюнет жареный петух?
Наташе прежде было не до строя
Ни до солдатского, ни до иных...
При случае потом сравню я их,
Когда вернусь описывать героя,
Потом я разделю границей четкой
Чекан солдатский
С горестной походкой.

Насчет тайги,
Насчет пурги простудной
Наташе ошибиться было трудно,
Хотя фуфайка, теплые носки
Под сапоги, что Кузьмины прислали,
Жуана от простуд оберегали,
Но не от частых приступов тоски.
Еще ошибка: здесь не знали моды,
Все, как и в тюрьмах,
Были безбороды.

Любой отсидчик
Рвется из тюрьмы,
Уйти, как говорят, из-под «чалмы»,
В колонию, к природе, где в затишке

Свободнее житейский антураж.
Природа все смягчает, а пейзаж
Способен скрыть сторожевые вышки.
А кто того не видел и не нюхал,
Готов держаться
За тюремный угол.

В тюрьме после суда
С душой в кручине
Жуана оставляли даже в чине,
Ну, в роли вроде бы наставника,
Достоинство наводящего порядка,
А если попросту, то в роли дядьки
В особой камере молодняка.
Однако, не имея в том споровки,
Он к собственной
Стремился перековке.

Решая так,
Мой грешный друг мечтал
Попасть на новый Беломорканал
С такою же великою отдачей,
С таким же осветительным огнем,
С такой же вековой нуждою в нем,
С такой же давне-дальнею задачей,
Когда в груди
Под взглядом всей страны
Добрели ее падшие сыны.

Нам и сегодня говорит немало
Моральный опыт Беломорканала.
Преступники, не чуждые стыду,
С умом и сердцем,
Если глубже вникнем,
Тем взглядом освещенные великим,
Меняются у мира на виду.
А мы уже и позабыли вроде,
Что нужен им
И Николай Погодин.

Ко времени тому
В Жуана влез
К вопросам социальным интерес,
К законам жизни и началам истин.
Что, как да почему?
Он стал раним,
Он мучился, что отбывали с ним
Не слуги страсти, а рабы корысти.
Их было большинство, позорно павших,
Совсем по-разному,
Но что-то кравших.

Ах, деньги, деньги!
У коварных денег,
Как ни крути,
Почти что каждый пленник.
Не виноват ли рубль, смахнувший грязь,
Отмытый, в Октябре переодетый,
Охотно ставший нашею монетой,
Однако с прошлым не порвавший связь?
Не сохраняет ли поныне оный
В себе самом
Старинные законы?

Хотя Жуан
В познаниях быстро рос,
Но не по силам поднимал вопрос,
Довольно острый и довольно спорный.
Тогда к услугам он имел, друзья,
Всего четыре месячных рубля,
Пригом в ларьке по книжке заборной,
И то сказать, имел не постоянно,
А лишь потом
При выполнении плана.

Он в мастерской,
Посаженный за пресс,
Не тратясь на технический ликбез,

Своей работе научился скоро,
Как будто бы всю жизнь одно и знал,
Что из сухой пластмассы штамповал
Фигурный корпус электроприбора.
Так и глотал бы воздух он пахучий,
Когда б не подвернулся
Редкий случай.

Однажды начколони, майор,
Вел с неким капитаном разговор
На тему, возникшую не часто:
— Заказик тут на кресла есть один,
Нет, нет, не мягкие под дерматин,
А жесткие — для среднего начальства,
Но добрые, чтоб если сесть, так сесть.
Скажи, у нас
Краснодеревщик есть?

В колонии тогда,
Ему на жалость,
Краснодеревщика не оказалось.
— А кто же есть?
— Есть мастер-металлист,
Есть мебельщик, но по перепродаже,
Есть часовщик, есть плановик и даже
Конструктор есть и техник-протезист...
Начальник почесал затылок: — М-да,
Давай-ка мне
Конструктора сюда!..

Со впалыми щеками в сизом дыме,
С глазами, как у ворона, большими
Жуан перед начальником предстал.
— Вы самолетчик?
— Да. —
К стрижке сизой
Начальник взглядом потянулся снизу,
Как будто друг в то время вырастал,
И начал странное для первой встречи:
— Я думаю,
Что кресло сделать легче.

— Не знаю.
— Все узнаете сейчас... —
Начальник начал излагать заказ.
Почти с волнением, в мыслях озоруя
И временем не тратясь на огляд,
Жуан охотно взялся за подряд,
Как говорят, пошел напропалую,
Неосмотрительно беря в совет
Пословицу:
Семь бед — один ответ.

Казалось,
Что всю жизнь его звала
Так весело звеневшая пила,
Раскраивая ножки табуреток.
Прожилки, обнаженные пилой,
Запахли ароматною смолой,
Как пахнут по весне
Лишь лапы веток.
Под звон пилы таежный дух кедровый
Ему благовещал о жизни новой.

Но все ж
Была задача не по нем.
Летели ночь за ночью, день за днем,
А мозг его и замысла не зачал.
Он памятью летел во все концы,
Припоминал музеи и дворцы,
Где прежде насмотрелся всяких всячин,
Но вся Европа старая, хоть тресни,
Не подсказала
Ничего о кресле

Но в творчестве
Частенько неудачи

Бывают от завышенной задачи.
Не заносись, мой друг, умерь полет,
А то и возвратись к земной отметке,
Шагни опять от старой табуретки,
Фантазия вновь силу обретет,
А уж потом-то будет не до смеха
Всем столярам
И мебельщикам века.

Почти на грани
Краха и паденья
Жуана охватило озаренье.
Ему сначала у себя в углу
Представить спинку кресла выпал жребий,
Похожую на модный дамский гребень,
Замеченный в Мадриде на балу.
На чертеже, уменьшенное вдвое,
Предстало вскоре кресло
Как живое.

Начальник сразу
Поднял друга шансы:
— Красивое, хоть приглашай на танцы!
Да только где найдем материал?
Конечно, кедр сойдет, он точно розов,
Но спинка!.. Под карельскую березу!..
Чудесно, да, но кто ее нам дал? —
Тут распиловщик подал голос слабый:
— А не сойдут березовые капы?

Так называют
В белизне берёст
Бог весть с чего явившийся нарост,
Килою именуемый по-сельски.
Он весь в извилах, а извивы те
Почти не уступают красоте
Своей прославленной сестры карельской.
На третий день Жуан скользил по скатам
На поиск их
С охотником-бурятом.

Охотник из поселка
С давних дней
Здесь промышлял куниц и соболей,
Не раз встречался с мишкой-воеводой,
Знал от дерев-гигантов до куста,
Глухие украшавшие места,
С их неживою и живой природой,
Где, промышляя, знатный Цыденжап
Частенько видел
Этот самый кап.

В одной ввинке,
Вспугнутые лайкой,
Взлетели куропатки белой стайкой,
Охотник вскинул верное ружье...
По выстрелу в урочище таежном
Краснодеревщик наш
Вполне надежным
Увидел охранение свое,
Особенно потом, когда под елью
Они лапшу с курятиною ели.

То был привал!
А до того привала
Прошли две впадины, два перевала,
Поднявшись, задержались на одном.
Заснеженная даль чуть-чуть дымилась,
И все, что взору с высоты явилось,
Казалось не реальностью, а сном.
Восторженный Жуан с горящим взором
Хотел излиться
Нежным разговором.

Но с Цыденжапом,
Как и до сих пор,
Напрасно зажевал он разговор,

Напрасно до поры искал в нем друга.
— А где Байкал?
— Э, там...
— Иркутск!
— Э, там... —

Охотник все показывал, а сам
Размахивал рукою на полкруга.
Ах, если бы не эта осторожность,
Не вспомнил бы Жуан
Свою остротность.

Они огонь приятельства зажгли
Не раньше, чем в распадине нашли
Четыре капа, годных к пилораме,
Как я уже писал и вновь пишу,
Заправили домашнюю лапшу
Двумя опцированными петушками.
А у Жуана, только бы кормежка,
Была всегда за голенищем ложка.

Теперь ему,
Поевшему отменно,
Пришла на память Марфа Тимофеевна,
Ее стряпня, заботливость ее,
Столь зримая над скатертью из снега.
И не случайно.
Есть у человека
На близкие события чутье,
В котором может быть уловка даже:
Вдруг вспомнить тещу
С думой о Наташе.

В обратный путь
Уже на склоне дня
Их повела готовая лыжня,
Блестевшая в лучах незаметной.
Мой друг летел пернатою стрелой,
Как будто бы спешил к себе домой,
К жене и теще, а не в дом казенный.
Там вечером, когда уже смеркалось,
Предчувствие Жуана оправдалось.

На тумбочке в углу,
Где спал сосед,
Еще с обеда ждал его конверт,
По службе вскрытый некими руками,
А в нем листок, а посреди листка
Зелененькие контуры цветка
С пятью наивнейшими лепестками.
Подумал: «Шуточки Аделанды!» —
И скомкал,
Чертыхаясь от обиды.

Зачем бы это ей,
Не мог понять,
Листок разгладив, поглядел опять.
Таких цветов не видел он в природе.
Задумался:
«Цветок!.. Зачем цветок?..»
И вдруг его потряс догадки ток:
«Да это ж детская рука в обводе,
Да это ж сына моего рука,
Протянутая мне издалека!»

Да как он сразу
Буквиц не заметил,
Написанных по краешку:
«От Федя».
Глаза его зажглись: казалось, пар
Выбрасывал он вздутыми ноздрями,
Как свежими горячими углями
Не в меру перегретый самовар.
Так невременный
Впадает в радость,
А невременность в любви — как святость.

Пошла,
Пошла,

Пошла куда-то вкось
Ума и сердца золотая ось.
— Т-сс, он свихнулся! —
Фразы повторенье
Лишь вызывало подозренье к ней:
— Да это же рука любви моей,
Рука моей любви и примиренья!
Да это же рука, что, в мир являсь,
С обоих наших душ
Смахнула грязь!..

Друг оказался на свою беду
В то время у начальства на виду.
Меж тем сенсационное известье
И звание высокого «отец»
Его, такого пылкого, вконец
Душевного лишили равновесья.
А от начальства,
Чтоб избежать фальши,
В такое время надо быть подальше.

А тут еще ему,
Сама страстна,
Своих страстей добавила весна.
Тайгою закачалась подхмелевшей,
Рекою расковалась, сбросив плен,
И новым руслом — руслом перемен
Направила конфликт, давно назревший.
Но срыву не найти бы оправданий,
Когда б не эти
Комнаты свиданий!

Встречали в них
Мужей отгороженных
Весною повахавшие жены
Из дальних городов и деревень.
Огнем любви и нежности стгорая,
Счастливы уходили в двери рая
И возвращались лишь на пятый день.
Смотреть на них,
Блаженных от избытка,
Ревнивому Жуану стало пыткой.

В столярной,
Проходя свои этапы,
Пилились, гнулись и сушились капли
С далекой Цыденжаповой версты.
Жуан в горячке стал довольно часто
Оспаривать вмешательство начальства:
— Не вы, а я конструктор красоты! —
Жуан-отец, тоскуя о свободе,
Совсем забыл,
Что не на том заводе.

Уже назавтра,
Став на путь регресса,
Мой друг шагал на раскорчевку леса,
На заготовку смолянистых дров,
На просветленье просек долговерстных,
И вскоре душу просветлил он в соснах,
Так воздух был покоен и здоров.
Не странно ли,
Что, к лесу непривычный,
Он даже мыслить
Стал философичней.

На раскорчевке,
Размышляя днями
Над с кем-то,
С чем-то схожими корнями,
Зверьем и человеком в том числе,
«Природа,— думал он,—
Весь срок безмерный
В своей лаборатории подземной
Искала формы жизни на земле.
Еще не все взошло.
Нам и не снится,
Какая красота в корнях таятся!

Взойти всему
Мешал огонь и бури,
Что не взошло,
Рождается в скульптуре,
В изваянных пеньках, корнях, сучках,
В причудливых извилах их и складках,
Как у Коненкова в его догадках,
В его лесовичках-полевичках.
Нас лишь искусство в некоем наважденье
Ведет к истокам
Нашего рожденья».

Примерно так
О чудесах корней
Он разговаривал со мной поздней,
Что позабавило меня, но вскоре
Печальным красноречием своим
Друг заразил меня любовью к ним,
Внушил смотреть, как говорится, в корень,
Но в корневищах,
В их узлах и плетях
Встречались больше
Змеи мне да черти.

Куда спешу?
Жуан еще корчует,
На верхней полке в камере ночует,
Тоскует, любит, суткам счет ведет,
Еще не зная, что в таежной хмари
Он отличится на лесном пожаре
И сократит свой срок на целый год.
Есть у любви особенное свойство,
Людей толкающее
На героизмо.

Во знойный день
Был воздух весь пропитан
Парами леса, как парами спирта,
Хоть солнце, занимавшее женит,
Едва светило в ореоле ложном,
И потому все ждали нетревожно,
Что их всего лишь тучка осенит
И покропит дождем, но осенила
Огня и дыма
Дьявольская сила

Сначала,
Не сливаясь с хвойным фоном,
Огонь запрыгал по высоким кронам,
Куда-то пряча за собой следы.
Все подивились этакой безделке,
Поскольку прыгали всего лишь белки,
Как первые предвестницы беды.
Жуан подумал:
Может, среди проделок
Игра такая есть
У рыжих белок!

Потом на просеке
С рогами врозь,
Дыша ноздрями, появился лось,
Он к небу вскинулся, где солнце меркло,
С глазами, уже полными огня,
Как будто вспомнил: где моя семья? —
И возвратился в огненное пекло.
Жуан подумал:
Может, зверь бедовый
Всего дивил
Губой своей пудовой!

Но вот,
Глухой озвучивая лес,
Стал нарастать и хруст, и резкий треск,
И гул, и дикий крик попавших в неги,
Как будто споенные сатаной,
Ломая все, ватагою хмельной
Бежали красно-бурые медведи.

Над просекой, чтоб взять ее нахраном,
Уже и счета не было их лапам.

— Пожар!
— Пожар!
— Пожар! —

Ужасен в зной
Всепожирющий пожар лесной
С его огнем и нестерпимым жаром.
Как он изменчив, если поглядеть:
То бурным дымом пляшет, как медведь,
То огненным взлетает птерозавром,
То медлит,
То спешит в багряной злобе,
Чтоб воплотиться
В памятники скорби.

— Пожар!
— Пожар!
— Пожар! —

Уж не одну
Обуглил он за просекой сосну,
Как спичку, не одну спалил он елку,
Теперь же продирался сквозь кусты
По краю — к перемычке в треть версты,
Ведущей через просеку к поселку.
Жуан не оробел:
— Ва-а-лите лес!.. —
И бросился огню наперерез.

С большим огнем,
Нагрывшим на хвою,
Бороться трудно,
Как с большой водою.
Он понизу и поверху течет,
С ним в поджигателях любая палка.
Такая началась лесоповалка,
Что был часам потерян всякий счет.
Считали только у огня и ветра
В горячке отвоеванные метры.

Для многих —
Чем опаснее работа,
Тем выше мера нравственного взлета.
Жуан, усталый, прислонясь к сосне,
Глядел на суету почти бесстрастно,
Лишь чувствовал и думал:
«Как прекрасно —
Стоять вот так, со всеми наравне!»
Сам Цыденжап, презренный поборовши,
Тряс за руку:
— Однако ты хороший!..

Но строг закон.
Тушителей он истых
Вновь разделил на чистых и не чистых,
Одни — домой, другие в жалкий строй
С его в рядах дистанцией короткой,
С его особой жалостной походкой,
Которую обрел и мой герой.
Как обещал в начале сей тетради,
Сказать о ней
Теперь мне будет кстати.

Солдат на марше,
Говоря без лести,
Несет себя как единицу чести,
А колонист, не зная что нести.
С руками позади,
С душой в полоне,
С плечами неподвижными в наклоне
Ногами пручается грести.
Хотя и оживило строй отчасти
В тот вечер
Чувство доброе в начальстве.

Начальство было радо,
Что в угаре

Никто не скрылся при лесном пожаре,
А каждый пятый бился как орел,
Хотя для всех была опасность явной.
Особенно геройствовал чернявый,
Тот, с гонором, что кресло изобрел.
За что майор,
Прибывший к чернолесью.
Команду подал:
— Разрешаю песню!

Легко сказать!
У песен вольный мир.
Попробовали — вышло тыр да пыр,
Не стройно получилось и не стойко.
В том и загадка, что мотив простой
Заставил непривычный к песне строй
Заняться в ритме самоперестройкой.
Особенно когда Жуан бывалый
И в песне оказался запевалой.

«Гей-гей, шевелите ногами,
Шагайте вперед веселей.
Судьба посмеялась над нами,
А мы посмеемся над ней.

Гей-гей, гей-гей,
Шагайте вперед веселей!

Гей-гей, мы слетели с орбиты,
С наземного сбихлись пути.
Сегодня за мятых да битых
Небитых дают до пяти.

Гей-гей, гей-гей,
Шагайте вперед веселей!

Гей-гей, разочтемся в угратах,
В душевных печалях своих.
Не будем искать виноватых
И сваливать все на других.

Гей-гей, гей-гей,
Шагайте вперед веселей!

Гей-гей, в нашей горестной драме
Погибнет и зло и злодей.
Судьба посмеялась над нами,
А мы посмеемся над ней.

Гей-гей, гей-гей,
Шагайте вперед веселей!»

Душа иная,
Пока песню пела,
Пересмотрела собственное дело.
Мне дороги душевные суды,
Умеющие видеть, что подсудно.
В наш трудный век
Попасть в беду не трудно,
Труднее с честью выйти из беды.
Вот почему для самооправданья
Душе необходимы испытанья.

В судьбе героя нашего возник
Особенный, послепожарный сдвиг.
Неслышанно,
Негаданно,
Нежданно
Она взлетела сразу, как в броске,
Когда на отличительной доске
Вдруг появилось имя Дон-Жуана.
Все поняли, что значит этот знак:
Прыжок к свободе,
А не просто шаг.

Еще через неделю
При обходе
Врач подкрепил надежду о свободе:

Не из какой-то личной доброты,
Не из того, что слышал понаслышке,
Освободил его совсем от стрижки,
Бритья усов и даже бороды,
А по закону — это подтверждение,
Что где-то близок
День освобождения.

Не раз он укрощал
Порыв гордыни,
С надеждой встречи думая о сыне,
Не раз в нем горько плакался отец,
Не раз ночами, занятыми бдением,
Сменялись ожидания сомнением,
Сомнения надеждой. Наконец
Неспешная старушка Справедливость
Дала свободу
И сняла судимость.

Побритый,
При усах,
Почти чубатый,
С двухлетней половиною зарплатой
Он наконец-то вышел на простор,
Простившись без особого печальства
С друзьями-столярами и начальством,
Взгрустнув над креслом...
Кстати, до сих пор
В Иркутске, Красноярске повсеместно
Еще стоят жуановские кресла.

Таланты против прочих
В том колоссы,
Что чаще задают себе вопросы.
Когда иной живет навеселе,
Талант, идя к ответу, тратит годы.
Чем оправдать перед лицом природы
Свое существование на земле?
Вот коренной из коренных вопросов! —
Сказал бы на сей счет
Любой философ.

Пока мой друг
Под музыку колес
Везет в себе мучительный вопрос,
Что породил талант, дотоле незнанный,
Давайте мы его опередим,
На крыльях легкой мысли полетим
За посланной Жуаном телеграммой
В ту пятитенку с Кузьминою-старшей,
С Наташею и бунтарем Федяшей.

В ту пору
У Федяши, у голубы
Уже всю прорезывались зубы,
Уже улыбка на лице цвела,
Уже и по часам, а не по числам
Росли в его глазах оттенки смысла,
Слеза и то осмысленней текла.
Теперь Наташа даже замечала
Свое в нем
И Жуаново начала.

Он в их началах,
Вроде баш на баш,
Забавный представлял фотомонтаж
С чертами в состоянии раздора,
Но у природы много доброты,
Она, чтоб примирить его черты,
На то имела чудо-ретушера,
И Федя из презренья к разнобою,
Казалось, становился
Сам собою.

И мать,
А чаще бабушка сам-друг
Тетешкали его в две пары рук,
Капризы, взгляды брали на замету,
В науках воспитанья так росли,

Что малышка знакомить подпесли
К настенному отцовскому портрету.
— Вот папа твой! —
Ему сказала мама,
А тут и подросла телеграмма.

Жена Жуана, напрягая лоб,
Перетрясала скромный гардероб,
Наряды, позабытые доселе,
Подолгу примеряла на себе,
Но, к ужасу, на ней, на худобе,
Все платья, как на вешалке, висели.
Мать, видя в ней утраченный объем,
Не стала охать.
— Ничего!.. Ушьем!..

Ушитая со стороны обратной.
Наташа стала даже элегантною.
О чем и не дозналась.
Знать бы ей,
Что муж ее, а он не похвалялся,
Вот за такими только и гонялся,
Особенно в Испании своей.
Скажу вам,
Стройность он любил в девчатах,
Высоких, по-цыгански плещеватых.

А утром
На трамвае продувном
В коляске,
В охранении двойном
Федяша, любопытствуя не в меру,
К вокзалу, повторив маршрут отца,
Доехал до трамвайного кольца
И покати по роковому скверу,
Перечеркнув коляскою своею
То место боя,
Что прошло под нею...

Тем временем
На ближнем перегоне
В зашарпанном, расшатанном вагоне
Стоял Жуан в проходе у окна.
Мелькали потемневшие копейки,
Загончики небурной картошки
С пожухлою ботвой у полотна,
Топорщился в следах колесных стежек
Подрезанной пшеницы
Рыжий ежик.

И мил был мир
В его земных трудах
С гирляндами стрижки на проводах,
С лошадкою и шустрым самосвалом,
С комбайном на дороге грунтовой,
С высоким небом,
С тучкой дождевой,
С великою загадкой даже в малом,
С последнею любовью, пьяной в дым,
Зато уж трезво
Выстраданной им.

Еще он пребывал
В мечтах немелких,
Состав уже пощелкивал на стрелках
И выгибался, сжатый с двух сторон.
Вагонами и службами вокзала.
А встретит ли?
Вот что его терзало,
Пока цветами не зацвел перрон,
Пока не заприметил орлим оком
Свою жену, стоящую с ребенком.

А та страшилась
Даже и глядеть,
Как из вагона этаким медведь

Устало выйдет, хмурый и косматый.
Жуан же, возвращаясь к миру благ,
Уже успел зайти в универмаг
И обернуться снова франтоватым
— Смотри! —
И Тимофевны локоток
Тихонько подтолкнул
Наташу в бок.

Пока,
Огнем и ветром обожженный,
Супруг к ней шел
С улыбкой напряженной,
Она, самосудимая стыдом,
Она, самоказнимая, навстречу
Федяшу выше приподняв к оплечью,
Себя полуприкрыла, как щитом.
— Вот папа твой! —
Шепнула по наказу
Уже знакомую Федяше фразу.

Глазами любопытства
До испуга
Отец и сын смотрели друг на друга.
Родные дважды — кровью и судьбой,
Товарищи по временам опальным,
Как в четком отражении зеркальном,
Увидели себя перед собой.
Вносили некий элемент химеры
Лишь разные
Зеркальные размеры.

Глаза Федяши
В блеске интереса,
Как у отца, широкого разреза,
Глядели то смешливо, то всерьез,
А губы жили в перемене зыбкой
На тонкой грани плача и улыбки,
В соседстве близком торжества и слез,
При этом вопрошавшими глазами
Он то и дело
Обращался к маме.

Душа отца,
Воскресшая в пустыне,
Переживала все, что было в сыне:
Такой же интерес, восторг и страх,
Надежды и сомнения — казалось,
Что каждое движение повторялось,
Явленное на Федяных губах.
— Иди ко мне, иди! — снижая звуки,
Он протянул
Натруженные руки.

Нет, как бы мамы сладко ни кормили,
Душа ребенка тяготеет к силе,
Сказать точнее —
К сильной доброте.
На зов отца Федяша отозвался
И сразу же, к восторгу, оказался
Что ни на есть на самой высоте,
У новой жизни на вершине самой,
Над папою,
Над бабушкой,
Над мамой.

Когда Жуан,
Герой заглавный наш,
Шагал с Федяшей, лучшим из Федяш,
Дотоль не видевшим отцовской ласки,
С женой и тещею, известной нам
По доброте и рыбным пирогам,
С коляскою, с котомкою в котляске,
Все думали:
«Счастливая семья!»
Не ведая того,
Что ведал я...
Спел песню я,

А если песнь поют,
Не голосом, душою устают.
Высоким не прикинусь перед вами,
Походкою не стану удивлять.
На пыпочках всю жизнь не простоять,
Большими долго не пройти шагами.
Шесть песен спел я про любовь земную,
О Муза-сваха,
Дай мне спеть седьмую!

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ

«О, донна Анна!»

А. Пушкин, «Каменный гость»

Мой друг Жуан,
Мытарствуй не мытарствуй,
Семья как государство в государстве,
По-своему живущее века,
Изменчивое строем и размером.
В котором будешь если не премьером
То уж министром-то наверняка,
С особым правом робкого совета
При выкройке домашнего бюджета.

Учти, Жуан,
В Сибири для устоя
Семья почти не знала Домостроя.
Жену любили, если горяча
Была не столько в кухне и ночевке,
Сколько равная на той же раскорчевке,
Умевшая, как муж, рубить сплеча,
Да чтобы ухитрилась, как ни трудно,
И матерью хорошей быть попутно.

На этой фразе я услышал вздох.
В ней усмотрев, должно быть, мой подвох,
Насмешливый Жуан почти бедово
Скосился глазом темным, как прострел,
И долго-долго на меня смотрел
С печальной высоты пережитого,
— Ну-ну,—сказал,— благодарю, учитель,—
И засмеялся,—
Бедный сочинитель!

Сидели мы,
Приняв лишь по единой,
У тещи возле дома под рябиной,
Плодоносившей только первый год.
Жуан подвлялся, с ней тягаясь в росте,
Три ягодки сорвал от спелой грозди,
Испробовал и покривил свой рот,
Да и позднее при тираде длинной
Так и остался с этой горькой миной.

— Мой друг поэт,
Ты думаешь, что я,
Я, Дон-Жуан, лишь выдумка твоя,
Лишь тени тень, живущая фиктивно?
Не лести себе, хоть и приятно лести
Не ошибись, пойми — я был, я есть
Вполне осознанно и объективно,
Иначе бы любые испытанья
Не принесли такого мне страданья.

Мой друг поэт,
Не тщишься из доброты
Вообразать, что по несчастью ты
Влюбил меня, женил, толкнул к разбою.
Нет, милый, нет, сквозь радость и беду
Не ты меня, а я тебя веду,
Тащу тебя три года за собою.
Так в нашей дружбе, бывшей между нами,
Мы поменялись главными ролями.

Мой друг поэт,
Тебя в твоём стыде
Увидел я, ты помнишь, на суде,

Готового тогда к моей защите.
Да, да, хотел тебя я отвести,
От самобичевания спасти,
Себя же от тебя освободить и...
Ну, словом, подчеркнуть
Тем жестом странным,
Что чувствую себя
С тобою равным.

Когда Жуан за все мне отпел
И, строгий, под рябиною стоял,
Решалась наша дружба — либо, либо?
Возвышенная в святости живой,
Рябиновая гроздь над головой
Горела и светилась вроде нимба.
Смущенный, встав,
Сказал я без лукавства:
— Дай руку, друг,
На равенство и братство!

Чем вызван в друге
Этот новый крен,
Какие же причины перемен?
То кресло ли его, лесной пожар ли,
Любовь ли, сын ли — жизни высший дар?
Жизнь, дорогие, интересный жанр,
Люблю работать в этом древнем жанре.
Но если быть в нем голым реалистом,
То будешь не поэтом,
А статистом.

В грядущее
Нужна вся наша сила,
Все, что до нас,
Что в нас,
Что с нами было.
В Жуане, если без обиняков,
Все впечатленья жизни стали купней.
Ему его грядущее доступней,
Как выходцу из прожитых небом.
А человек, по замечанью тещи,
Чем уместней,
Чем опытней,
Тем проще.

У тещи
В одеянье кружевном
Красивый был ее старинный дом.
Весь с топора и лобзика всего-то,
Смотрелся он на самый строгий взгляд.
Жуан сострил:
— Напрасно говорят,
Когда хулят, — топорная работа!
Так смотрится, уже не бога ради,
Икона древняя в резном окладе.

Жуан шутил-шутил
Да как пальнет:
— Вся эта улица на слом пойдет,
Участок стал для города потребным,
А тещин домик с канителью всей
Есть предложенье вывезти в музей,
Открытый где-то под открытым небом.
— Эге, Жуан, не будешь ротозеем,
Глядь, домик станет и твоим музеем,

Со мной не то,
В стропильной программе
С моими, брат, не цацкались домами.
Хотел бы хоть в один вернуться, но
Мне всюду с ними просто наважденье.
Домов, где жил я, с моего рожденья
За ветхостью с десяток снесено.
Не будет места в той эпохе дальней,
О, друг мой,
Для доски мемориальной!

Так мы шутили,
Подобрев к домам,
С придумкою и правдой пополам
Припоминали прошлые проказы,
За словом не ходили далеко,
И было нам так вольно и легко,
Как будто и не ссорились ни разу,
Пока не стало видно из-под грозди,
Как в уникальный дом
Толкнулись гости.

В гостях сидел
С большим сознанием прав
Почти что прежний свадебный состав,
Как вроде бы игралась на усадьбе
Не по годам отсчитанная в срок,
А по страданиям, что выдал рок,
Досрочная серебряная свадьба,
Но не кричали «горько» шумовато,
Поскольку въяве
Было горьковато.

Была на теще гения печать.
Достало б ей гостей поугощать
И тем же салом, тою же ветчинкой,
Картошкой, студнем из телячьих ног...
Так нет же, а сварганила пирог
С той самой рыбно-луковой начинкой
И «дурочку», прикрытую со сметкой
Под честною
Фабричной этикеткой.

Добро и зло —
Две стороны медали.
Вот выпили и с добротой стали,
Сердца открыли, сжатые в тиски.
Ну, что такое зелье?
Так — водица!
Но как свежо зарозовели лица,
Тугие развязались языки.
У бывшей в напряжении Наташи
Опали плечи
В памятном вальже.

Какой-то дед спросил, беря пирог:
— Преуважасмый, а как острог? —
Старик был стар, но в памяти и силе,
Пожалуй, посильней внучат иных.
То был заглавный корень Кузьминных,
Отец отца Наташи — дед Василий.
— Острогов нынче нет! —
Мой тезка — в колкость:
— А если нет острогов,
Где же строгость?..

Что мой Жуан
Был встречен как герой,
Меня и то коробило порой,
Как будто он не лес пилил на трассе,
Не пни в глуши таежной корчевал.
А с некою задачей побывал
В дочетной экспедиции на Марсе.
Наверно, проявлялся в тот момент
Судьбы сибирской
Некий рудимент.

Сибирь, мой край,
Затмивший все края,
О, золотая каторга моя,
Приют суровый праотцев бесправных,
Где барско-царских не было плетей,
Но лыко нам неведомых лаптей
С железом кандалов прошло на равных.
Народом ничего не позабыто,
Что в жизни поколений
Было бытом.

Сибиряку сама живая данность
Безшла и суровость и гуманность

Почти в любой семье сибиряка
Для беглецов считалось делом чести
На самом видном и доступном месте
Поставить на ночь кринку молока.
И, тронутую грешными устами,
Крестили заскорозлыми перстами.

Сибирь моя,
В просторах безграничных
Ты принимала всех иноязычных.
У всех повныне свой особый лик,
Но все сильнее вечно стремление,
Чтоб после вавилонского дробленья
Здесь снова обрести один язык.
Твои небостремительные башни
Уже давно затмили
День вчерашний.

Сибирь моя,
Ты вся в кипучей стройке,
Вся в переделке, вся ты в перекройке,
Любовь моя, ты вся из новостей,
А если вместе с «дурочкой» угарной
Был заведен мотив рудиментарный,
За то не будем осуждать гостей.
Таков порядок:
После крепкой влаги
Запеть надрывно
Песню о бродяге.

Не пела лишь Наташа,
С видом чинным
Неугомонным занимаясь сыном.
А Федя деловито, без конца,
Переходил, как ангел примирений,
С ее колен на теплоту коленей
Легонько подпевавшего отца,
Как будто этой хитростью наивной
Хотел связать развяз
Любви взаимной.

Жена сидела
Рядышком с Жуаном,
Дразня супруга профилем чеканным,
Девически смягчившимся в былом,
Коса все с тем же золотым избытком
Ее венчала свитком, словно слитком,
Красиво свитым греческим узлом,
Отбившиеся локоны горели,
Как лепестки цветка
На длинном стебле.

По части стебельков
И прочих трав
Мой друг при опыте был не лукав,
А искренне смотрел на все, и даже
Все старшее в природе почитал,
Поэтому не о душе мечтал,
Мечтал о теле — тело было старше.
Меж тем бродяга песенный помалу
Лишь подошел
К священному Байкалу.

Есть в русской песне
Высшая отрада,
Дойдет до песни, ничего не надо,
Лишь песню дай — поющие не пьют.
И сам влюбленный в песенное диво,
Жуан впервые думал неучтиво:
«Черт побери, они еще поют!»
Тут вроде бы из-за Федяши в певни
Пришлось вмешаться
Марфе Тимофевне.

Так Федя
И на этот раз помог

Переступить той горенки порог,
Где бревна неприступные в оплоте
До сей поры его дивили той
Старинной перевозчанной простотой
И чистой своей открытой плотью.
Они в линейно ровных строчках пакли
Еще, казалось,
Древним лесом пахли.

Подумал:
«Красоте не нужен лак».
Послушал: «Что ж Наташа медлит так?»
А как ей было, мучалась расплатой
И продолжая в робости любить,
К нему через порог переступить
Бабенкою паскудно виноватой?
На шорох оглянулся по тревоге —
Жена уже стояла на пороге.

К застывшей у проема
Скорбным знаком,
Жуан шагнул отяжелевшим шагом,
Да так, что пола заскрипел настил.
Наташа своей грешно-золотою
На грудь ему упала головою.
— Жуан, прости!..
— Мой сын тебя простил.
— А ты, Жуан? — заговорила снова.
— Молчи!.. Ни слова!..
Никогда ни слова!..

Не он ли
При долине перед взгорьем
Два года возносил себя над горем?
Не он ли у обрыва на краю,
Облаянный сторожевыми псами,
Мужскими, небегучими слезами
Два года отмывал любовь свою?
Превозмогая горести и боли,
Поднялся над самим собой
Не он ли?

Для страстного
Любовь — душевный оттиск,
А вместе с тем и смысла трудный поиск.
Но истина давалась нелегко,
Внушалась болью, вставшей над интригой.
Перед любовью вечной и великой
Все злое, однодневное — мелко.
Для страстного не может быть иначе, —
Против однажды,
Страстный любит жарче.

Не помирила теплая постель,
Супругов не помирят колыбель
И не сведут любые комитеты,
И кто бы ни просил, и ни грозил...
— Жуан, сначала свет бы погасил!..
— Пусть, пусть горит до самого рассвета!..
Хотя любовь при свете лучше зрима,
Она стихами невозобразима.

— Молчи, молчи,
Не приступы стыда,
Придумали одежду холода... —
Жуан болтал с шутливостью игривой, —
Ты косы расплети по всей длине,
Люблю тебя на золотой волне
Лицом ко мне с улыбкою счастливой!..
Молчи, молчи!.. —
Теперь, сказать не к ночи,
Заговорил он тише и короче.

Но в жарком буйстве
Расплетенных кос,
В глазах жены был некий парадокс,
Который женщину в любви украсит,
О некоей загадке говорит:

При жажде счастья взгляд ее горит,
При полном счастье почему-то гаснет,
А разве бы все это, небезгрешный,
Жуан заметил
В темноте крошечной?

Так в горенке
С любовью, страстно спетой,
Метался свет до сутем рассветной.
Себя не ставя во главу угла,
Жуан при полном торжестве задора
Не вел себя нахально, как обжора:
Поел — и отвалился от стола,—
А как бы говорил хозяйке Нате:
Нет, нет, вы этот стол
Не прибирайте!

А утром,
Давшим счет хорошим дням,
Он обновленным встал по всем статьям,
По-новому решительным и смелым,
Там, в лагере, затронуто ржой,
Он обновлялся смутною душой,
Но прозябал нетерпеливым телом.
Теперь, когда поднялся и умылся,
Душой и телом
Заново родился.

Чаевничать,
Опохмелясь слегка,
С остатками сядились прога,
А он, остывший, был куда вкуснее.
Жуан, настроенный на добрый лад,
Наташи перехватывая взгляд,
Лукаво переглядывался с нею.
Та отвечала, будучи польщенной,
Улыбкой сдержанной
И чуть смущенной.

А теща свой чаек,
Лицом тепла,
Стариночкой из блюдечка пила
На пальчиках широкого развода,
Подует и пригубит — благодать!
— Куда теперь пойдешь-то работáть?
— Куда?.. Да никуда, кроме завода. —
Жуана между тем на третьем годе
Почти совсем забыли на заводе.

Такой уж ритм
У жизни заводской.
Над глазами с тех пор корпел другой,
Уже другой руководил в цехкоме,
Директор, с ним и главный инженер
Уже другого ставили в пример,
Забыли в шумном коридорном доме,
Где с той поры, как стала тяжела,
Наташа уже больше не жила.

Работа — не обуза,
А потребность,
К работе есть особенная ревность,
Подвижник есть в профессии любой,
Но в самой трудной — самый ярый в споре.
Моряк, познавший штормы, любит море,
Шахтер, познав завалы,— свой забой,
Но изо всех ревнивых патриотов
Ревнивей всех
Строитель самолетов.

Не чудо ль,
Что простой бумажный змей,
Забава подрастающих детей,
Явился в мир надеждою крылатой,
В короткий срок успел себя явить,
Минувший век с высот благословить

И увенчать собою век двадцатый.
Не чудо ли, что в этом чудном чуде
Творят за чудотворцев
Просто люди.

Жуана поразила навсегда
Завязтая эстетика труда,
Та красота, что собрана помалу.
Ведь надо же увидеть и понять,
Что человека легче оживлять,
Чем жизнь давать холодному металлу
И придавать ему в пределах нормы
Разумные, причудливые формы.

Металл, он мертв,
Но все же в чувстве стилиа
Не терпит безрассудного насилья —
Битья, рванья его тончайших жил,
Лишь в доброте к нему — залог успеха.
Все эти истины, как мастер цеха,
Жуану, между прочим, я внушил,
Когда он стал смотреть
В очках спесивых
На нас, как исполнителей пассивных.

Любая самолетная деталь
Высокую несет в себе мораль.
Она ни в чем не терпит искажений,
Его создателя спасут от лжи
Стоящие на страже чертежи...
Недаром в бурях мировых движений,
В исканиях свободы зоркий Марк
Поставил впереди рабочий класс.

— Ба-ба, Жуан!..
Не думал, не гадал!..
Давно не видел, где ты пропадал?..
Знакомый руку жал, как другу, исто,—
А я уж думал, в Африке самой
Передаешь богатый опыт свой,
Там, говорят, нужны специалисты... —
Высокая Жуану льстила марка.
— Хоть и не в Африке,
Но было жарко!..

Был добрый знак,
Что встреча без оглядов
Произошла перед отделом кадров,
Где у всего начальства на виду
При должности замнач, иль замзава,
Работала тогда Попова Клава,
Знакомая по танцам в горсаду.
Хоть кумовство мы судим так и сяк,
Но все-таки знакомство
Не пустяк.

Та Клава,
Не смутясь,
Не суетясь,
С директором установила связь —
Из трубки голос вылетал басистый:
— Вы это про кого?..
— Да про того...
— А-а, да, припомнил — как дела его?
— Досрочно вышел, и притом по чистой... —
Смолк на мигуту трубки звукомет,
— Свяжитесь с Главным,
Пусть к нему пойдет.

Когда мой друг
В прическе ореолом
На мой участок заглянул веселым,
Я догадался — все пошло на лад,
Все утряслось и вправду без оглядок.
— Ну, как, Жуан, с работою?
— Порядок! —

За друга я, действительно, был рад.
— Надеюсь, что не поступился стажем?
— Нет, нет! Назначен инженером старшим!

С тех пор мой цех,
Гудящий и гремящий,
Жуан стал посещать уже все чаще,
Но был ему мой цех не мною люб,
А тем, что мог в нем заточить стамеску,
Найти в углу какую-то железку,
Какой-нибудь диковинный шуруп.
Казалось, за такое упрощенье
Жуану даже не было прощенья.

Но работяга,
Если он не робот,
До странной страсти обретает опыт.
Освоив кресла в некоем краю,
Жуан, приобретя свой стиль и хватку,
Забраковал Федяшину кроватьку
И начал конструировать свою,
Способную на качку и покат,
По сложности почти что агрегат.

Однажды, для нее брусок строгая,
Он видел, как прекрасна плоть нагая,
Как матово чиста, но миг спустя,
Когда стругнул еще, из-под фуганка
Явилась темно-розовая ранка,
Подобно следу ржавого гвоздя.
Еще, еще стругнул
И, ширя взгляд свой,
Увидел ранку
Темно-бурой язвой.

То был сучок,
По юности отживший,
По времени опавший и оплывший
Целебным соком не одной весны.
Так хорошо и так счастливо стало,
Что на стволе березы не осталось
Ни пятнышка, ни малой кривизны.
Не будь Жуан в работе бесноватым,
И не узнал бы
О сучке чреватом.

Былой сучок в березовом оплыве
Хранился темной тайной, как в архиве,
Минула жизнь — и вскрылась тайна та.
Мой друг тот брус с возможною резьбою
Разглядывал, держа перед собою,
Как Гамлет череп своего шута,
И медленно цедил не без нажима:
— Невероятно и непостижимо!

Вдруг захотелось
В меру разуменья
Приобрести рентгеновское зренье,
Прозреть через какой-нибудь экран,
Пока никем не видимые сучья
Из глубины его благополучья
Не проступили зримо, как изъян,
Тем более что жизнь к усладе вкуса
Выглаживалась, как бока у бруса.

Но в том была
Не праздная забота,—
Жену, казалось, угнетало что-то.
Теперь он отмечал в ней без труда
То странную застенчивость и робость,
То странную ответную торопность,
То жгучий взгляд куда-то в никуда,
А красота в румяности осенней
Все ярче становилась
И надземней.

И вот Жуан,
Не мешкая с раскачкой,
Пришел ко мне с той самою болячкой.

А я шутпл:
— Скажу, не осердись,
Чтобы вернулись легкость и свобода,
Вам надо было начинать с развода,
Сначала разойтись, потом сойтись.
Все взрывы ревности в твоих фугасах,
Все глупости
Оставил бы ты в загсах.

Невежда в психологин семейной,
Ты стал капризной барышни кисейной,
Ты упустил спасительный момент
Из глупых статистических приличий,
Стыдясь своим разводом увеличить
Супругов разводящихся процент... —
Он засмеялся, относя к потехам
Все это,
Но, увы, последним смехом!

Пока паслись мы
На ученой ниве,
Наташа становилась все красивей,
Хотя, казалось, чуточку бледней,
Но бледность только брови оттенила,
Да только губы ярче очертила,
Да только строгость подчеркнула в ней,
Да только подкрепила, словно в споре,
Высокую отчаянность во взоре.

Такое же,
А может, и капризней,
Бывает часто в яблоневои жизни.
Когда недуг ей корни поразил,
Когда коснулась гибельная хмара,
То яблони цветут особо яро,
Истрачивая все запасы сил.
Но вот скажи, и все сочтут за бредни
Слова о том,
Что этот цвет последний.

Напрасно хоть в очках,
Хоть без очков
Заглядывать на доньшки цветков,
Там не найти обещанную завязь.
— Какая жалость! — скажет, наперед
Беды не угадавший садовод,
Припоминая промахи и калясы.
Но покаяния звучат века,
Как самоотпущения греха.

У бедной Наты
В день и раз, и два
Покруживаться стала голова,
Тесниться грудь, тошнотка появляться.
Пожаловалась матери, а та
Заметила шутливо и просто:
— Э-э, кто-то младший догоняет братца! —
И посоветовала, чтобы Ната
Пошла к врачу
За подтвержденьем факта.

Но оказалось,
Весь набор примет
Обманчив был, как яблоневый цвет,
Не давний сил приросту молодому.
Задумчивый, как белокрылый грач
В своем халате белом, старый врач
Наташу передал врачу другому,
Тот — третьему, а там вмешался четный,
И не последний,
А всего четвертый.

И как же было
Нате не смутиться,
Когда пришла машина из больницы
С высокой фарой, меченой крестом.

Жуана не было, с ночной укладки
Федяша еще спал в ночной кровати,
А Тимофевна прибирала дом.
Наташу так и обожгло словами
Вбежавшей медсестрички:
— Мы за вами!..

— А что мне взять? —
На свой вопрос резонный
Реакция ее была мудреной,
Необъяснимой импульсом иным,
Как страхом, заслонившим все на свете.
— Ах, да, да, да! —
Она метнулась к Феде,
Как будто ехать собиралась с ним.
Лишь с плачем сына, сердце резанувшим,
Она оторопела, как под душем.

А тут бабуся подросла кстати.
— Моя голуба-люба, мой касатик! —
Напев заслышав, полусонный ввук
Со всею непосредственностью детства
Заулыбался и предпринял бегство
Из судорожных материнских рук.
— Не паникуй! —
Сказала Тимофевна,
И Ната успокоилась мгновенно.

Но, сделав шаг
Из-под родного крова,
Наташа к Феде устремилась снова,
Да так, что впала в еле слышный стон
В каком-то новом приступе печали.
Разбуженный, испуганный вначале,
На этот раз не испугался он,
Лишь долго удивленными глазами
Глядел на маму,
Обращенный к маме.

В беде
Никто не знает меры бедствий,
А в раннем расставанье всех последствий.
Быть может, будет сын всю жизнь искать,
Как и отец искал со страстью странной,
Оставшуюся в памяти туманной
Неведомо похожую на мать.
Во всех исканьях будет этот образ
Ему путеводительней,
Чем компас.

Не так ли в детстве,
К жизни пробужденный,
Глядел я, Музою замороженный,
В глаза ее, внимателен и тих.
Как часто, наградив душевным женьшем,
Она ко мне являлась с утешеньем,
С надеждой в начинаньях моих.
Зато теперь, когда мой мир в расстройе,
Меня забыла и моих героев,

О, сжался, Муза,
Возвратись, приди,
Несчастье от Наташи отврати!
О, Муза, Муза, искренняя вроде,
Ты, замечавшая и тихий плач,
Ведешь себя уклончивей, чем врач
В плохой больнице
При плохом исходе.
Тебя зову я, отзовись на поклик,
Спасеньем увенчай Жуана подвиг!

Я звал,
Я упрекал ее, она же
Сиделкою сидела при Наташе,
На этот раз реальная вполне.
Свой давний долг отсиджая честно,
Она Жуану уступала место,

Когда тот приходил к своей жене,
Со стороны глядела, видя диво:
Как он красив
И как она красива!

У скромницы
И у скандальной тетки,
Почти у всех в больнице лица кротки.
Там все мы, все — и ты, и он, и я, —
Почувствовав себя намного бренней,
Становимся добрее и смиренней
Пред мрачной вечностью небытия.
Еще живем, но будет же решаться:
Кому уйти,
Кому пока остаться.

У многих неприятый
И приятный
Немало остается скрытых связей,
Не ставших связью зримой и прямой.
Однажды с ослабленным недугом
Наташа стала умолять супруга:
— Мне лучше, забери меня домой! —
Тогда и повстречались друг с другом
Мой друг Жуан
С гордеевским хирургом.

Тому бы знать,
Что, хоть ролями разны,
Они к событию одному причастны,
А поточнее — к личности одной,
И каждый дело делал без отсрочки:
Жуан, как разухабистый раскройщик,
Хирург, как многоопытный портной,
Что речь пойдет с надеждою вмешаться
О жертве жертвы
Этого красавца-

А знай он
Всю историю живую,
Свою с ней связь, такую узловую,
Помог бы этот узел расплести,
Ведь признавать бессилие не просто:
Суметь спасти Гордеева-прохвоста,
А вот Наташу не суметь спасти.
Но, ничего не ведая об этом,
Он спрятал руки:
— Слово терапевтам.

Тоска по Феде
У Наташи вскоре
На время заглушила боль от хвори.
Хоть не врачам, а только ей самой
Казаться стало, что она здорова,
А потому и запросилась снова:
— Мне легче, забери меня домой! —
Врачи про Натю что-то больше знали,
Но все-таки
Задерживать не стали.

На лестнице
В домашней кацавейке
Наташа пошатнулась на ступеньке.
Но не успела выдохнуть и «ах»,
Обескураженной и удивленной,
Как, поднятая над плитой бетонной,
Притихла на Жуановых руках.
О как на этот раз она, несомна,
Была легка,
Почти что невесома!

Жуан заторопился, запыхал
Так, будто бы Наташу умыкал,
Боясь услышать окрик за плечам,
Нет, не врачей, а неузримой той,
Которая следит с недобротой
За трудными больными и врачам,
Чтобы самой, скупавшей не при деле,

Однажды встать
У роковой постели.

Жуан, сходя,
На лестничных пролетах
С Наташей вибрировал на поворотах
И снова шел в шпке, суров и лих,
С такой неоспоримостью побега
Заспорившего с горем человека,
Что встречные шарахались от них.
А он спешил с ней, словно из угара,
Из пламени
Таежного пожара.

Не зря Наташа
В страхе и надломе
Затосковала о родимом доме,
О горнице, где родилась она,
Где ярче материнского подола
Ей памятна любая складка пола,
Где ей сподручна каждая стена.
Здесь, дома, в обстановке завсегдашней,
Болезнь и та
Становится домашней.

Довольная Наташа замечала,
Что на душе Жуана полегчало.
Казалось, уже виделся просвет
И жизнь уже светледа понемножку,
Как в палисадник узкое окошко
К зиме, когда на ветках листьев нет.
Так, слабому здоровью не противясь,
Болезнь притворно
Ослабляла привязь.

Но вдруг привиделось,
Что тихо-тихо
Какая-то курносая ткачиха
На ветхом стане темный холст ткала.
Челнок мелькал легко и бирюзово,
Уток сверкал, а темная основа
К ней в душу протянулася из угла.
И вот ткань, навитое на валик,
Ткачиха та
Взяла на притужальник.

Ей стало больно,
Но в работе срочной
Зигзагом бегал огонек челночный,
Все продолжал светиться и мелькать.
Основы темной натяга жплы,
Ткачиха полоротая спешила
Свое тканье нездешнее доткать.
Сопротивлялось, билось, не хотело
По жилочкам
Разматывать тело.

— Ткачиха!.. Стой!.. —
Вскричала Ната, видя,
Как посветлел настрой душевных нитей,
Давно ли цветом равных с темнотой,
О, значит, вновь чиста и вновь здорова,
Коль стала в ней душевная основа
Раскручиваться пряжей золотой.
Ткачиха дрогнула, вскочила с места.
Наташа прошептала:
— Наконец-то!

Жуан не знал,
Сидевший у постели,
О чем она?
В бреде ли?
В тяжком сне ли?
Тревожный, он не мог найти никак
К чему-то цельному и даже следа
В порывах чувств,

В обрывках сна и бреда,
В обломках мира, павшего во мрак.
Все как мираж, — вот был и нет миража.
— Ну, что?.. Ну, что?.. Что, Ната?..
О, Наташа!..

На грани жизни,
На исходе грана
Она еще услышала Жуана,
Глаза открыла, тотчас их прикрыв,
Как бы от света,
Свет был слишком светел.
Вскочив его тушить, Жуан заметил
Наташи протестующий порыв.
— Пусть, пусть горит! —
Сказала тихогласно. —
Пусть светит до рассвета! —
И погасла.

И тихо-тихо стало,
Что в затишке
Тишей не пробежать и тихой мышке,
Стал тихим дом, за домом мир стал тих.
Почувствовав себя несчастно пришлым,
Жуан рыдал рыданием неслышным,
Упав лицом в ограду рук своих,
Но и за нею видел тонкобровый
Наташи профиль
Строгий и суровый.

Жуан не слышал,
Как придя для смены,
Запритчала Марфа Тимофевна,
Бесслезно повела печальный сказ,
Неспешно жизнь дочернюю итожа.
— Красавица моя, да на кого же
Федяшу ты оставила и нас? —
При этом поправлять не забывала
Ей веки, прядки,
Руки, одеяло.

Во исполнение ее завета
Свет яркий не гасили до рассвета,
До полного исхода темноты.
А утром, когда стал уже не в новость
Ей смерти страх;
И строгость и суровость
Покинули Наташины черты.
Казалось, кто-то в ней, уже любезный,
Смягчился и разжал
Кулак железный.

Как школьницу
Когда-то в первый класс,
Наташу наряжали и сейчас,
О новой школе зная понаслышке,
Не ведая ее учителей,
Не зная толком и программы всей,
Какие там в ходу стихи и книжки,
Какие там уроки в толще стен,
Какие сроки вечных перемен.

Друзей-свидетелей
Ее урока
На этот случай было много-много,
Они за гробом рядом шли со мной,
Иные сетуя, иные плача,
Решая для себя ее задачу,
Лишь при смерти решенную самой.
Задача та с ее концом фатальным
Ко мне пришла
Под знаком интегральным.

Случалось быть наедине с бедой,
В бессилии перед бедою той

Я говорил себе: живи, как травы,—
Прольется дождь, цветом в росе горы,
А засуха сожжет тебя, умри
Другим без пользы,
Для себя без славы.
Но возникал вопрос невольный сразу:
Тогда зачем же человеку разум?

А если есть,
Зачем он не глубинный,
Не полный, а какой-то половинный?
Пусть страхов стало менее в числе,
Но все равно мне горестно и больно,
Что столько зла блуждает бесконтрольно
На нашей изумительной земле.
Нам истины даются у могилы;
Наташа — жертва
Этой темной силы.

Когда земля
На гроб упала с гулом,
Впервые друга видел я сутулым,
Позволившим беде себя согнуть,
Ошеломленным кровною утратой.
Какою непомерно тяжелой платой
За истины приходится платить,
Чтобы ему и всем от злого мрака
Вперед шагнуть
Хотя бы на полшага!

Средь Кузьминых,
Всех родственников их
Здесь было много наших заводских,
С тоской в глазах
Стоявших не для вида,
А в меру старой памяти их дружб,
По обязательству совместных служб,
Услуг взаимных, лишь Аделаида,
Пока Жуан не отошел последним,
В слезах стояла
За крестом соседним.

Мне приходилось замечать не раз:
Уход кого-то плачивает нас,
В процессии ухода мы едины,
Нас музыка печальная ведет,
Никто не забегает наперед,
Держась благоразумной середины.
А после наши связи уже хрупки —
Похоронив, мы делимся на группки.

Шел первый снег.
Два срока есть в году,
Оберегающие красоту
С особой ревностью за человеком:
Цветение и снегопад, что сам
Догадливо прикрыл могилы шрам
Своим неторопливым первым снегом,
Но для рубца, горевшего багрово
В душе Жуана,
Не было покрова.

Он понял,
Что в душе его отцовой
Необходим для сына Федя новый,
Почти что материнский уголок.
Пусть будет нечувствительным к утратам,
Пусть вырастает смелым и крылатым
Торителем космических дорог.
Да, да, пусть женский,
Черт возьми, халатик
Не затмевает красоты галактик.

Так рано
К слову доброму «отец»
Прибавилось недоброе «вдовец»
С его ходячим вариантом «вдовый».

Теперь в любви родительской горяч,
Даже во сне заслышав Федю плач,
Жуан вставал, помочь ему готовый,
Готовый с человечностью предельной
Его утешить
Песней колыбельной.

«Спи-засни, мой сыночек,
Подрастай, мой росточек,
А когда подрастают,
Дети спят и летают.

Как закроются глазки,
Полетишь ты, как в сказке,
Над родною землею
И над Бабой Ягою.

У старухи, у злыдня,
Нет заботы о сыне,
У старухи, у злючки,
Нет ни внука, ни внучки.

Злыдня зла не скрывает,
В старой ступе летает,
Вместо крыльев над мглою
Машет грязной метлою.

Спи-засни, мой сыночек,
Окрыляйся, росточек,
Настоящие крылья
Подарю тебе с былью.

Полетишь ты далеко,
Полетишь ты высоко
Над родною землею
И над Бабой Ягою...»

Читатель милый,
Вспомни, что в начале
Мы песни запедали без печали.
Счастливые концы всего милей,
Но я писал без мысли, чтобы легче,
Нет, не стихи, а судьбы человечья
В мучительных исканиях путей,
В исканиях любви— до понимания
Ее как высшего
В нас достоянья.

Все беды,
Лезущие даже в строчку,
Увы, неотвратимы в одиночку.
Нам не дано самим изобрести
Свой легкий путь,
Свою любовь и нежность.
К трагедии приводит неизбежность,
А к драме может случай привести,
Хотя и случай будучи нечаянным,
В ряду других
Бывает не случайным.

Что мне сказать,
Тоской не бременя,
Когда о счастье спросите меня?
Скажу вам, склонный
К прежнему пристрастью:
Большое счастье — это, на мой взгляд,
Не только сам конечный результат,
Но и дорога, что вела нас к счастью.
И пусть никто из нас не забывает,
Что в чистом виде
Счастья не бывает.

А если так,
Зачем пых старанья,
Чтоб приуменьшить наши испытанья?
Ведь если счастье нам далось трудней,
То радость и торжественней и выше.
А если это так, зачем самим же

Обкрадываться в гордости своей.
 Суровый счет ведите неудачам,
 Особо тем,
 Когда за всех мы плачем.
 Да будет слово
 Громом и набатом.
 Суровый счет ведите всем утратам,
 С пристрастием судите — чья вина?
 Да будет вериться, что в наших буднях
 Кому-нибудь на трудных перепутьях
 Задаст урок Наташа Кузьмина,
 Как жертва сил, пока еще несметных,
 Не только темных,
 Но и полусветлых.
 Большой урок,
 Не подчиняясь срокам,
 Для всех времен становится уроком.

Безоблачной мечтал видеть даль,
 Но кое-что уже предвидя кроме.
 Мы мужеству учились на «Разгроме»,
 На том пути, «Как закалялась сталь».
 О, если б и моя строка крепшла
 На стройке века
 Хоть одно строило!

И если бы
 При виде тяжких мук
 Обиженному другу верный друг
 Сказал однажды, поздно или рано:
 — Из многих книг, а их хоть пруд пруди,
 Ты книгу, если есть она, найди
 И перечти «Женитьбу Дон-Жуана»! —
 Тогда б и я за гробом верил страстно,
 Что жизнь свою
 Потратил не напрасно!

СОДЕРЖАНИЕ

ЕГОР ИСАЕВ. Даль памяти. <i>Поэма</i>	1
Суд памяти. <i>Поэма</i>	27
ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС. Поэма Прометея. <i>Перевод с литовского</i> <i>А. Межирова</i>	46
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ. Женитьба Дон-Жуана. <i>Ироническая поэма в семи песнях</i>	62

© Состав. Издательство «Художественная литература», 1978 г.

Егор Александрович Исаев

ДАЛЬ ПАМЯТИ. СУД ПАМЯТИ.

Юстинас Мотеевич Марцинкявичюс

ПОЭМА ПРОМЕТЕЯ

Василий Дмитриевич Федоров

ЖЕНИТЬБА ДОН-ЖУАНА

Редактор *В. Малюгин*

Художественный редактор *С. Гераскевич*. Технический редактор *Л. Ковнацкая*.
 Корректоры *А. Влазнева* и *Е. Терезова*

Сдано в набор 22.06.78. Подписано в печать 09.08.78. А 00994. Формат 84×108^{1/16}. Бумага газетная Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 11,760 усл. печ. л. 21,482 уч.-изд. л. Тираж 1 609 000 экз. (2-й завод 500 001—1 609 000 экз.). Заказ 30. Цена 1 р. 03 коп.

Издательство «Художественная литература»
 Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрипировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

Отпечатано на Чеховском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Чехов, Московской области. Заказ 2089

ВРЕМЯ ЗРЕЛОСТИ

(Окончание)

Поэма «Женитьба Дон Жуана» привлекает неподдельным демократизмом, богатством культурно-исторических ассоциаций, свободой творческой фантазии. Жанр поэмы пополнился большим, интересным, глубоко актуальным произведением.

Современная поэма вступает в пору зрелости. Мудрость выстраданная, отстоявшаяся в веках, начинает выступать со страниц многих произведений.

Помнится, какое огромное впечатление произвела в свое время поэма Егора Исаева «Суд памяти». Образы мертвой земли, материнской печали, выразительные портреты людей, искалеченных фашизмом и вновь с трудом обретающих свой облик, западали в память, будоражили совесть. В этом лирико-философском произведении, пронизанном тревогой за судьбу мира, Е. Исаев выступил сложившимся поэтом с остродраматическим восприятием жизни, с яркой образностью, в которой символичность органически уживалась с вниманием к бытовой детали, с любовью к характерному жесту. С этой поэмой, углубляя и развивая ее мотивы, перекликается новая — «Даль памяти».

Глубина авторского замысла и художественного видения явились в этом произведении прямым результатом проникновения поэта в созидательный смысл народной жизни. В поэме человек предстает и как объект глубоких и напряженных авторских размышлений, и как субъект активного созидательного действия. Перед нами проходят целеустремленные, радостно осознающие себя решающей силой исторического прогресса люди.

С первых же строк поэмы начинает звучать, набирать дыхание, расширяться мощная мелодия жизни, радостная тема прихода в мир Человека. Она варьируется, переливается, поворачивается и играет во множестве пересекающихся, сходящихся, расходящихся конкретно-бытовых, культурно-исторических, символических сцен и образов.

Вот он идет, маленький человечек, путаясь толстыми ножками в густой траве. Беспokoйный крик матери доносится издалека: «Домо-о-ой!.. Домо-о-ой!» Какое там «домой», когда весь мир распахнут ему навстречу, манящая даль стелется под ноги бесконечной дорогой. Не домой. Наоборот — из дому. Так устроен человек, он постоянно «из дому», рождается, чтобы освоить мир. Образ дали, дороги несет в себе ощущение беспредельных возможностей, заложенных в человеке.

На движении и развитии противоположных мотивов: «Домой!» и «Из дому» возникает в поэме разветвленная образно-смысловая цепь ассоциаций. События начинают группироваться, сталкиваться, расходиться по логике художественной правды, вбирающей в себя исторические и бытовые смыслы. В материнском кличе «Домой!», в тревоге его и печали мы слышим доносящийся сквозь века скорбный плач Ярославны; в воздухе, атмосфере произведения Е. Исаева ощущаем присутствие духовного опыта русского народа, чувствуем слой большой культурной традиции. Контрастные образы Дня и Ночи, Дали и Дома пробуждают дремлющий в неостывшей крови языческий мир славянства — приближаются и становятся вплотную времена детства нашей родины. Поэт в облике нашего современника зорко угадывает сложно трансформированные и обогащенные новым временем исторически сложившиеся черты характера русского человека, художественно убедительно передает в движении человеческих эмоций неразрывную связь времен.

Поэма Е. Исаева «Даль памяти» возбуждает гордость за советский народ, его исторические свершения. Она поэтична и философична. Впитавшая в себя народную мудрость, авторская мысль не торопится самонадеянно развязать все узлы и противоречия жизни. Непреодоленный драматизм мира все время колеблет чашу весов человеческого счастья.

Сейчас и в больших, и в малых жанрах поэзии резко возрос масштаб осмысления жизненного материала, заметно расширилась социально-историческая проблематика, усилилось стремление теснее увязывать факты нынешних дней, давних и близких событий с основополагающими проблемами бытия. Такая серьезная художественная нагрузка скорее по плечу все же крупным жанрам. И не случайно последние годы ознаменованы появлением принципиально важных для дальнейшего развития жанра поэм «Даль памяти» Е. Исаева, «Поэма Прометей» Ю. Марцинкявичюса, «Женитьба Дон-Жуана» В. Федорова.

При всем индивидуальном и национальном своеобразии этих произведений их авторов объединяет глубокая озабоченность состоянием Мира и Человека. Взаимоотношения личности и общества, человека и государства, свобода личности и ее ответственность за социальное поведение, ответственность человека за судьбу мира, за все, что в нем происходит, — эти и другие узловыe вопросы выдвигаются в центр современных поэм, решаются оптимистически, с верой в торжество идей гуманизма и справедливости.

Михаил ЧИСЛОВ

